

ЖИВОЙ

КОРЧАГИН

СЕМЕН
ТРЕГУБ

**Нашей вечной юности —
Ленинскому комсомолу
посвящаю**



СЕМЕН ТРЕГУБ

ЖИВОЙ КОРЧАГИН

Издательство
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
Москва — 1973

Трегуб С. А.

**Т66 Живой Корчагин. М., «Сов. Россия», 1973.
288 с.**

Критик и литературовед Семен Адольфович Трегуб был другом Николая Островского. Ему принадлежит одна из первых рецензий на книгу «Как закалялась сталь», а также несколько монографических книг о жизни и творчестве Н. Островского.

В настоящий сборник включены воспоминания «Живой Корчагин» и очерки о людях, которые были близки Островскому, встречались с ним, переписывались, и о том глубоком следе, который оставил Островский-Корчагин в братских странах. Сюда вошли также новые материалы: «Неразвернутая страница», «Пометы на полях», «Павел Корчагин на родине Тельмана», «Павел Корчагин на родине Матэ Залки» и «Корчагин с нами!».

Настоящее издание книги является вторым, дополненным и исправленным.

ОТ АВТОРА

Впервые эта книга была издана пять лет назад. Среди многочисленных ее читателей был и безвременно умерший выдающийся педагог В. А. Сухомлинский. «В ней очень много нового для меня», — писал он, ознакомившись с «Живым Корчагиным».

О том же писал еще в 1964 году Борис Полевой, когда отдельным изданием вышли только воспоминания «Живой Корчагин»: «И все, что связано с именем Островского, мне близко, дорого. Ну что ж, можно даже сказать свято. А твоя книжечка не просто что-то истолковывает, а добавляет».

Мне, не скрою, радостно было об этом узнать. Ведь ценность любого произведения зависит от его новизны. Если ее нет, то оно немногого стоит.

Упомяну еще моему сердцу письмо читателя Н. Николаева из хутора Веселого Багаевского района Ростовской области:

«Ваш «Живой Корчагин» воистину живет ныне и в нашем хуторе среди десятка тысяч моих земляков, живет и кровью горячего сердца воспламеняет молодежь на учебу, на труд и славные подвиги».

Эти и другие душевные отклики мне, разумеется, весьма и весьма дороги; они помогают жить и работать.

Однако, готовя нынешнее издание книги, я не только пополнил ее совершенно новыми очерками (потребность в том не оставит, надеюсь, меня и после выхода этого изда-

ния), но и подверг существенной редактуре старые: уточнял, сокращал, дополнял.

Остается добавить: читатель встретит в книге некоторые повторы. Они умышленно сохранены и призваны играть роль шестеренок, которые, соприкасаясь друг с другом, вращают незримый вал незримого сюжета.

1973 г.



ЖИВОЙ КОРЧАГИН

(Из воспоминаний о Николае Островском)

Летом 1936 года, после того как героический экипаж АНТ-25 совершил беспосадочный перелет по маршруту Москва—Петропавловск-на-Камчатке — остров Удд и направился отдыхать в Сочи, Валерий Чкалов сказал своим товарищам: «Первое, что мы сделаем, приехав в Сочи, это пойдем вместе к Островскому, увидим живого Корчагина, побеседуем с ним».

Живой Корчагин! Имя литературного героя давно уже слилось в сознании миллионов читателей «Как закалялась сталь» с именем автора. Находились, правда, «ученые мужи», которые всячески старались тому помешать: они *отделяли и отдаляли* Островского от Корчагина, внушали нам, что первый-де *только автор произведения*, а второй, мол, *только литературный образ*. Нас пугали: ни в коем случае нельзя говорить об Островском-Корчагине как о едином целом. Поступать так — значит «принижать» художественные достоинства книги Островского. Иное дело — сказать, например, что среди героев его романа лишь «незримо присутствует» живой образ повествователя, что мы лишь «угадываем его по общему, комсомольски приподнятому тону повествования и выразительным интонациям его голоса». По их разумению, автобиографическое — враг художественного. Писали даже: «Борьба вокруг проблемы автобиографичности романа при жизни Островского имела, кроме эстетического, определенное политическое содержание и отражала классовую борьбу в стране». Вот оно до чего доходило!

Я же, грешным делом, думал и думаю, что Островский *не только автор художественно талантливой книги, но и наш героический современник*, что Корчагин неотделим от Островского, что в основном и в главном, составляющем их характер, натуру, суть, они едины. И в этой достоверности Корчагина, подтвержденности его Островский *не слабость его, а сила*.

«У меня есть план, имеющий целью наполнить жизнь содержанием, необходимым для оправдания самой жизни», — писал Островский.

План этот был осуществлен. И то, что последовало затем, после выхода в свет его книги, еще и еще раз блестяще подтвердило мысль Белинского:

«Наше время преклонит колени только перед худож-

ником, которого жизнь есть лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание его жизни».

Первая часть «Как закалялась сталь» вышла отдельным изданием в конце 1932 года. Художник Б. А. Дегтярев, оформивший книгу, нашел для нее емкий и выразительный образ: тянущаяся вверх зеленая молоденькая веточка скрещивалась на сером коленкоровом переплете с наискосок пересекающим его тисненым серебряным штыком.

Вторая часть книги появилась два года спустя.

Я находился тогда на комсомольской работе в Ташкенте. Осенью 1934 года ЦК ВЛКСМ направил меня на работу в «Комсомольскую правду», с которой я был связан еще в те годы, когда учился в КИЖе (Коммунистический институт журналистики), и в еще более ранние годы, когда был юнкором завода «Красная звезда» (г. Кировоград).

О книге Островского я услышал в дни Первого Всесоюзного съезда писателей, который проходил в августе 1934 года. В. П. Ставский делал доклад о литературной молодежи. Он посвятил книге Островского три внушительных абзаца. Но прочитал я ее уже в Москве, в начале 1935 года.

Стоит сказать, что этому предшествовало, дабы развеять дурную легенду, будто бы книга Островского дошла до читателей «без малейших подсказок критика», а то и вопреки ей, «через ее голову».

Но сначала — одно существенное замечание.

Широко известно, что «Как закалялась сталь» (первая и вторая часть) увидела свет в 1934 году. Но мало кому известно, что нынешний книжный текст *весьма отличается* от того, который печатался в журнале «Молодая гвар-

дия». Речь идет не только о чисто языковых огрехах. В журнальном тексте читатель не найдет и такого ключевого места, как: «Самое дорогое у человека — это жизнь...» и того, что непосредственно за ним следует. Место это оказалось просто-напросто опущенным. А ведь «Как закалялась сталь» сейчас без него и не мыслится.

Только о третьем (массовом) издании книги (редактор И. Горина), которое появилось лишь *во второй половине 1935 года*, автор мог наконец-то сказать, что оно «вполне такое, как я хочу».

Тем не менее о книге Островского заговорили задолго до того, как вышло это третье издание.

Уже в 1932 году, когда появилась лишь первая часть «Как закалялась сталь», были опубликованы рецензии, одни заголовки которых сами говорят за себя: «Книга борьбы и ярких эмоций» и «В активе комсомольской литературы» (Иг. Зубковского и Г. Любимова).

В 1933 году печатаются еще две рецензии (А. Котова и Б. Фридмана).

Приближается пятидесятилетие комсомола, и «Комсомольская правда» публикует полосу «Страницы жизни и страницы книг». На ней большая обзорная статья Мих. Беккера «Мы узнаем себя». Критик называет много выдающихся произведений советской литературы. И среди них — «Как закалялась сталь».

И это сразу же после появления еще только первой части книги, да и то далеко не в том виде, в каком мы ее позже узнали.

В 1934 году, после выхода второй части «Как закалялась сталь» (опять же отличной от третьего издания), печатаются новые рецензии: Г. Ленобля — в «Литературной газете», Н. Никитина — в «Молодой гвардии», А. Александровича — в «Коммунистической молодежи». В них дается высокая оценка книге.

Снова выступает «Комсомольская правда». Она помещает рецензию А. Файера «Биография героя нашего времени», в которой книга Островского называется «волнущей и яркой», книгой «большой значимости».

И все это еще *за год до опубликования окончательного текста!*

Положительные отклики печатаются и в украинской прессе.

Все это подытоживается с высокой трибуны писательского съезда, на котором говорится:

«Неувядаемая тема гражданской войны волнует нашу литературную молодежь. Пишут о гражданской войне ее участники, и круг талантливых книг пополняется новыми, яркими произведениями.

Н. Островским — бойцом гражданской войны — написана книга «Как закалялась сталь». Это первая его книжка, в которой много недостатков, но в галерею портретов героев гражданской войны он вносит образ Павки Корчагина, мальчика в буфете на железной дороге, подростка-кошегара на электростанции, комсомольца и красноармейца.

Н. Островский показывает в книге «Как закалялась сталь» рост Павки Корчагина и его сверстников, принимавших бои за революцию как свое дело и составивших первые колонны комсомола на Украине».

Теперь можно обратиться к 1935 году, который Островский не без основания назвал самым счастливым годом своей жизни.

17 марта «Правда» публикует очерк Михаила Кольцова «Мужество» — о мужестве Островского-Корчагина. В этом очерке автор и герой книги были полностью отождествлены. С него-то и пошла всесоюзная и, не побоимся сказать, всемирная слава «Как закалялась сталь».

И это, еще раз напомним, опять же до выхода третьего

издания, в котором впервые прозвучали слова корчагинской клятвы, ставшие клятвой миллионов революционных бойцов разных поколений и наций.

Вслед за очерком Кольцова, 3 апреля, «Комсомольская правда» помещает вторую рецензию на «Как закалялась сталь», принадлежащую автору этих строк. В ней, кроме всего прочего, было сказано: если Корчагин подражал Оводу и на вопрос лечащего его врача: «Откуда берется его упорство?» — ответил: «Читайте «Овод», тогда узнаете», — то многие молодые люди, которые проявят в будущем свой героизм, на вопрос: «Откуда он взялся?» — ответят: «Читайте «Как закалялась сталь», тогда узнаете».

Островский находился в Сочи, на Ореховой, 47. В письме, адресованном редактору его книги, он написал: «Передай привет Трегубу. Его статья написана с такой комсомольской теплотой, что становится веселей на душе».

Так заочно состоялось наше знакомство и установилась прочная связь Островского с «Комсомольской правдой».

В годы моего знакомства и дружбы с Островским я работал в «Комсомольской правде» — заведовал отделом литературы и искусства. В одном из писем той поры Островский подчеркивал, что «Комсомольская правда» («тем более «литхудо»... — т. е. литературно-художественный отдел, или отдел литературы и искусства) не менее близка ему, нежели издательство «Молодая гвардия», которому он, конечно же, многим обязан, которое впервые выпустило его книгу «Как закалялась сталь», а затем и «Рожденные бурей», и переиздавало их все большими тиражами. Связь Островского с «Комсомольской правдой» и «Комсомольской правды» с Островским проходила через меня. И мои воспоминания об Островском выходят, естественно, за границы личного, частного.

Главные действующие в них лица: Николай Островский и «Комсомольская правда», которую я имел честь представлять.

Теперь перейду непосредственно к тому, что сохранилось в памяти и может быть подтверждено страницами «Комсомольской правды», письмами самого Островского, опубликованными записями его бесед, всем тем, что увеличивает «запас прочности» воспоминаний, грепащих, увы, порой неточностями и субъективизмом

Как же дальше складывались отношения «Комсомольской правды» с Островским?

28 апреля под рубрикой «Над чем работают советские писатели» газета поместила ответ Островского на запрос редакции. Он рассказывал о своем новом романе «Рожденные бурей».

«Меня спрашивают,— писал Островский,— как новая книга перекликается с романом «Как закалялась сталь». Обе книги родственные. Только в «Как закалялась сталь» сжато рассказана жизнь целого поколения на протяжении шестнадцати лет, а новый роман разворачивает в глубину лишь один из эпизодов революционной борьбы на протяжении трех-четырех месяцев».

Там же он сообщал, что его рабочий день — шесть-десять часов. И что, кроме романа, он хочет закончить еще в этом году киносценарий по «Как закалялась сталь», а также книгу для детей «Детство Павки». Правда, часто его предает разрушенное здоровье. «Но все же работа двигается вперед».

10 мая был напечатан отрывок из второй главы «Рожденные бурей».

В мае того же 1935 года отмечалось десятилетие «Комсомольской правды». Островский прислал нам горячее

приветствие и деловые пожелания. Он ратовал, например, за то, чтобы газета возродила литературную страницу. (Позже начала периодически появляться страница «Литературная жизнь».) Им назывались книги, которым следовало бы уделять больше внимания. «Отдел библиографии,— писал он,— должен заполняться ежедневно. Молодежь жадно хочет знать о лучших книгах нашей страны, она ищет на страницах своей газеты, что ей читать». Островский предлагал регулярно помещать аннотации книг, издаваемых «Молодой гвардией», дать критический обзор журнала «Молодая гвардия» за прошедший год и за пять месяцев текущего года.

Эти пожелания были нами учтены.

Островский продолжал внимательно следить за «Комсомольской правдой» и рад был в ней сотрудничать. Одно из подтверждений тому мы находим и в его письме от 26 сентября 1935 года. Он писал: «Скоро к вам поступит в «Комсомольскую правду» материал-переписка читателей с автором «КЗС». Если найдете нужным, опубликуете». И далее: «Статья Трегуба прекрасная. Я целиком с ним согласен».

Какую статью имел в виду на этот раз Островский? В поисках ее я обратился к комплекту «Комсомольской правды».

30 июля мы отвели газетную полосу под статьи, пропагандирующие книги о героизме, мужестве: «Спартак», «Записки цирюльника», «Тиль Уленшпигель», «Овод», «Камо». Я писал о «Камо».

Читал ли эту страницу Островский? Думаю, что читал. Она была прямым откликом на его подсказку, выраженную в письме в связи с десятилетием «Комсомольской правды». Но не статью о «Камо» он имел на сей раз в виду.

20 августа была помещена моя статья «О воспитании

чувства ненависти». Возникла дискуссия, в которой приняли участие многие, в том числе и А. М. Горький. Он выступил со статьей «Пролетарская ненависть».

Островский, судя по приведенным строкам из его письма, имел в виду и не эту мою статью, а другую, в которой речь шла о любви к книге, о необходимости более активной ее пропаганды, об общении писателей с читателями. Именно в этой связи ведь и было сказано: «Скоро к вам поступит... материал-переписка...»

Статья эта была напечатана 24 августа и называлась — «Верный товарищ». В ней говорилось о месте книги в человеческом прогрессе, о том, что комсомольские организации все еще мало уделяют внимания пропаганде хорошей книги: редко проводят читательские конференции, литературные диспуты, обсуждение печатаемой библиографии, критических статей и т. д.

В прямой связи с предыдущим явилась новая страница «Комсомольской правды», увидевшая свет 21 сентября и посвященная женским образам в литературе. Она была объединена аншлагом: «Жена, мать, товарищ, боец!» Пять статей представляли читателям пять классических произведений: «Мать» — Горького, «Виринея» — Сейфуллиной, «Что делать?» — Чернышевского, «Очарованная душа» — Роллана, «Декабристки» — Некрасова. (Я писал о «Виринее».)

Островский прислал обещанный материал. Но он прислал его только в десятых числах октября.

До того произошло знаменательное событие! 1 октября Островского наградили орденом Ленина. «Комсомольская правда» напечатала поздравление от ЦК ВЛКСМ и от редакции. Воспроизведу наш текст:

«Вместе со всем комсомолом мы поздравляем тебя, наш дорогой и любимый товарищ — гордость Ленинского комсомола и молодой советской литературы.

Бодрствуй и твори! По-прежнему зажигай сердца нашей молодежи священным огнем большевистского слова».

В том же номере газеты были помещены две редакционные статьи об Островском, глава из «Рожденных бурей», письмо киевской комсомолки и статья Островского «Счастье жить» — его отклик на высокую награду. Он начинался памятными словами:

«В наше время даже темная ночь становится пылающим утром».

Островский писал о своем необычном счастье. «Какой неоспоримый пример возможности борьбы и работы, даже в условиях, в каких в буржуазном мире человек гибнет в одиночестве».

Он информировал о своей новой работе. И там же:

«Победа первой книги не может вскружить мне голову. Я не зеленый юноша, а большевик, который знает, как далека еще до совершенства и действительного мастерства моя первая книга».

Дали и портрет писателя-орденоносца.

А 28 октября появилась моя статья «Судьба писателя», в которой были использованы те самые материалы (письма читателей), которые прислал нам Островский. «Письма — взволнованные, искренние, трогательные — идут к нему со всех концов нашей великой страны». В статье говорилось о необычной судьбе Островского, которая стала вместе с тем обычной, то есть вполне возможной именно в нашей Советской стране.

Такова хроника взаимоотношений «Комсомольской правды» с Островским, предшествовавшая нашей очной встрече.

В Москву Островский прибыл вечером 11 декабря. Стояли морозы. Несколько его друзей, среди которых я запомнил Матэ Залку, И. Феденева и А. Караваеву,

отправились на пригородном поезде в Серпухов, встречать его. Вместе с ними поехал и я. Там-то, в Серпухове, в вагоне скорого поезда «Сочи—Москва», мы впервые пожали друг другу руку.

Михаил Кольцов писал в очерке «Мужество»:

«Николай Островский лежит на спине, плашмя, абсолютно неподвижно. Одеяло обернуто кругом длинного, тонкого, прямого столба его тела, как постоянный, неснимаемый футляр. Мумия».

«Но в мумии что-то живет,— продолжал Кольцов.— Да. Тонкие кисти рук — только кисти — чуть-чуть шевелятся. Они влажны при пожатии. В одной из них слабо держится легкая палочка с тряпкой на конце. Слабым движением пальцы направляют палочку к лицу, тряпка отгоняет мух, дерзко собравшихся на уступах белого лица.

Живет и лицо. Страдания подсушили его черты, стерли краски, заострили углы. Но губы раскрыты, два ряда молодых зубов делают рот красивым. Эти уста говорят, этот голос спокоен, хотя и тих, но только изредка дрожит от утомления».

Внешний рисунок довольно точный. Таким и я увидел впервые «живого Корчагина», хотя лицо его тогда выглядело отнюдь не мертвенно-белым и говорил он не спокойно, не тихо, а энергично и громко. В нем жили не только кисти рук и лицо. Он был заряжен такой энергией, которая ежеминутно пробивалась наружу и начисто разрушала ассоциацию с мумией. Михаил Кольцов не мог этого не ощутить. И потому он подчеркнул отсутствие в Островском «чувства какой-нибудь отрешенности, неполноценности, неравенства с другими людьми».

В нем бродило еще озорство молодости! Это о себе он

написал: «То, что я сейчас прикован к постели, не значит, что я больной человек. Это неверно. Это чушь! Я совершенно здоровый парень. То, что у меня не двигаются ноги и я ни черта не вижу,— сплошное недоразумение, идиотская шутка, сатанинская!»

Из Сочи в Москву, в «северную экспедицию», Островского сопровождали его старшая сестра — Екатерина Алексеевна, лечащий его доктор Михаил Карлович Павловский и старый сочинский друг — Лев Николаевич Берсенев. Они расположились в отдельных купе мягкого вагона, в котором ехал Островский. Одно купе было специально оборудовано для него.

Что запомнилось? Радостное возбуждение Островского. Каждого из нас, входивших к нему, он сразу же называл по имени и на «ты». По имени и на «ты» он называл и меня, задержав мою руку в своей левой руке. И то, что он был прикован к постели и был слепым, ненадолго задержалось в моем сознании. Не вспомнилось о мумии. Я был потрясен его вулканической, можно сказать, энергией.

Островский расспрашивал о столичных новостях. Мы коллективно ему отвечали.

— Мне нужно порыться в архивах,— говорил он,— чтобы освежить, обогатить память и закончить «Рожденные бурей».

Он просил организовать для него преподавание литературы, философии.

Я всматриваюсь в него. Худое тело наполовину закрыто одеялом. Военская гимнастерка. На груди — орден Ленина. Заострившееся, скуластое, подвижное лицо его одухотворенно: оно буквально светится мыслью. Большой лоб подан вперед. Аккуратно зачесаны назад волосы. Над правой бровью отчетливо выделяется вмятина. Впавшие глаза широко открыты, и кажется, что они видят.

У него еле-еле открывается рот, но речь бойкая, темпераментная...

Островский рассказывает о своей недавней встрече с какими-то иностранными журналистами.

— Они относились ко мне, как к феномену. «Скажите откровенно и честно,— допытывались они,— у вас ведь нет никакой личной жизни, вы переживаете жуткую трагедию?» А я им в ответ: «Я, конечно, страдаю оттого, что не могу быть абсолютно полноценным работником. Но это не имеет ничего общего с трагедией, с тем, что может ощущать человек в буржуазном обществе. Мои легкие дышат совершенно иным воздухом. Любовь моей страны так обильна, нежность ее так велика, забота ее так трогательна, что способны исцелить самого тяжело больного человека». — «Откуда у вас столько бодрости?» — спрашивали они меня, не понимая, что из ничего ничего бы и не вышло. А надо мной долго трудилась наша партия и комсомол. Вот откуда и идет моя романтика. Вот кто высек огонь творчества в моем сердце¹.

Доктор напомнил ему о необходимости соблюдать режим. Островский улыбнулся:

— Вот еще политкомиссары.

Заговорили с ним о Маяковском. И он сказал, что любит его поэзию и рад тому, что она наконец-то по достоинству оценена.

Временами мы замечали, что лицо его резко бледнело, становилось таким, каким видел его Михаил Кольцов. На лбу Островского выступал холодный пот. Он медленно двигал правой рукой, в которой была зажата короткая

¹ В этих словах Островского ответ тем, кто и ныне пытается представить его неким духовным и художественным «феноменом», несущим на себе таинственную печать «судьбы».

палочка, обмотанная на краю салфеткой, и вытирал его. Мы, естественно, встревожились. Он же, чтобы успокоить нас, сослался на обычную дорожную усталость. На самом же деле, как стало известно позже, у него начались почечные колики и он испытывал весьма мучительные боли.

...За окнами простирались снежные поля. На стыках рельсов вздрагивали и покачивались вагоны. Островский угадал возникшую за окном искрящуюся россыпь ночных огней столицы.

— Москва, Москва,— произнес он торжественно,— сердце Родины... Чувствую я себя прекрасно. Да иначе и не могло быть. Так и передайте товарищам...

Но товарищи, которых он имел в виду,— комсомольские работники, корреспонденты, сотрудники Моссовета, школьники, собравшиеся на Курском вокзале,— сами уже валили к нему в вагон. Какая-то девочка преподнесла ему букет хризантем.

— Меня встречают, как победителя,— сказал Островский.— Я очень рад приезду в дорогую Москву. Сердечно благодарю вас всех.

Тот, кто бывал на московской квартире Островского на улице Горького, в доме № 14 (теперь № 40), видел на стене, у его кровати, квадратный лист бумаги и на нем напечатанные на машинке номера телефонов, которыми он постоянно пользовался. Среди них — телефон отдела литературы и искусства «Комсомольской правды».

Николай Алексеевич пробыл тогда в Москве до середины мая 1936 года. Часто в нашем отделе раздавался телефонный звонок: «Сейчас будет говорить Коля»,— предупреждала сестра Островского или работающий с ним в тот день секретарь. Следовала короткая пауза. В этот

момент трубку прикладывали к уху Островского, и к нам доносился его глухой, прерывистый голос. Звонил он по разным поводам: то благодарил за пересланные письма читателей его книги, то интересовался ближайшими планами нашего отдела, что-то подсказывал, то расспрашивал с новостях, то просто просил заглянуть к нему. Часто и я звонил. До сих пор в памяти его телефонный номер: К 5-85-52.

Первая встреча в вагоне протекала в необычной, разумеется, обстановке. Теперь же, после его приезда в Москву, я часто приходил к нему на улицу Горького.

...Представьте себе, дорогой читатель, что и вы идете сейчас со мной, зимним днем, что мы вместе поднимаемся по широкой мраморной лестнице на второй этаж, поворачиваем направо, останавливаемся у квартиры № 3 и нажимаем белую кнопку электрического звонка.

Островский ждет нас. И мы переступаем порог его комнаты.

На что сразу же обращаешь внимание? В комнате полумрак. Большое окно (вернее, стеклянная дверь бывшего балкона), выходящее на улицу Горького, завешено тяжелой шторой: дневной свет сюда не проникает и уличные шумы почти не доносятся. Слева, со стены, где стоит кровать Островского, свисает электрическая лампочка, прикрытая красным лоскутом (яркий свет резал ему глаза, они воспалялись). На улице морозно. А здесь «оранжерейная температура» — градусов 25—27 (кроме обычной кафельной печи, комнату обогревают еще три электробатареи).

На стене, у кровати, коврик. Над ним — большой портрет В. И. Ленина. У изголовья Островского висит телефонная трубка. Здесь же — шнур электрического звонка, тянущийся к его руке: условным сигналом он может вызвать к себе кого-нибудь из родных, секретарей.

Наискосок, в углу, письменный стол, над ним — портрет И. В. Сталина. Черная воронка репродуктора. А напротив кровати — кожаный диван с боковинами для книг. На одной из них — бюст Анри Барбюса, подаренный ему М. К. Павловским.

Почти в центре комнаты, ближе к кровати, маленький столик с пишущей машинкой.

Что еще? Пианино. Книжный шкаф.

Но прежде чем мы успели все это разглядеть, мы услышали голос хозяина: он здоровается с нами, спрашивает о здоровье, настроении, шутит.

И вот Островский протягивает не мне, а вам кисть своей руки (у него, как мы уже знаем, двигались только кисти рук) и просит сесть рядом. И по тому, как он засасывает вашу руку в свою, как нервно ее пожимает, вы догадываетесь, что он не просто здоровается с вами: ваша рука приближает вас к его внутреннему зрению и он как бы включается в вас.

— Когда я держу твою руку, — подтверждает Островский вашу догадку, — я полнее чувствую то, что ты мне говоришь, живее представляю себе тебя, и до меня лучше доходят твои слова. Если же я физически не ощущаю около себя человека, с которым разговариваю, то мне кажется, что голос его доносится откуда-то издалека, из темной бездны, которая меня окружает, и тогда я хуже усваиваю его речь, слова смутно доходят до моего сознания.

С помощью необычного этого рукопожатия вам, в свою очередь, передается это внутреннее напряжение, и вы включаетесь в «высоковольтную сеть» его мыслей и чувств.

Чем дольше длится беседа, тем все больше и больше вы забываете, что сидите у постели человека, давно уже сраженного тяжелым недугом.

Он говорит: «Когда я закрываю глаза...» — и вы не ду-

маете о том, что его глаза уже закрыты много лет. Он жалуется на «проклятый грипп» — и вам кажется, что только эта болезнь его и беспокоит. Он говорит: «я читаю», «я пишу», «я роюсь в архивах»... И вы забываете, что не он читает, а ему читают, что он давно уже не пишет, а только диктует, что он никак не может рыться в архивах. Слепой — он зорче многих зрячих, неподвижный — он подвижнее многихдвигающихся, тяжелобольной — он излучает столько энергии, что не сострадание к нему овладевает вами, а чувство гордости за него и, я бы сказал, чувство стыда за себя: вы ловите себя на мысли, что живете не в полную меру своих сил и возможностей: что-то важное не сделано вами сегодня, и вчера, и позавчера... Сидя у его постели, вы острее, чем когда бы то ни было, ощущаете свои недостатки и учитесь у него трудному, но обязательному для каждого человека умению — жить достойно.

Островский говорит:

— Самое опасное для человека — не его болезни. Слепота, конечно, страшна, но и ее можно преодолеть. Куда опаснее, если хочешь знать, другое — лень, обыкновенная человеческая лень. Вот когда человек не испытывает потребности в труде, когда он внутренне опустошен, когда, ложась спать, он не может ответить на простой вопрос: «Что ты сделал за день?» — тогда действительно опасно и страшно. Нужно срочно собирать консилиум друзей и спасать человека, так как он гибнет. Ну, а если потребность в труде не потеряна и человек, несмотря ни на что, продолжает работать, можно считать, что с ним все в порядке.

Он рассказывает о первых днях своей работы в Москве, о том наслаждении, именно наслаждении, какое он испытывает, когда диктует в стремительном темпе и пишущая машинка строчит как пулемет. Готова уже вось

мая глава «Рожденных бурей». Это — сорок две страницы. И это — скачок через шестую и седьмую главы, которых еще нет.

— Анархия! — восклицает Островский.

Он думает о трагедии Пшигодского. Суровый человек с нежным сердцем не находит счастья в личной жизни. Сойдется ли он с Франциской?

— Все зависит от того, не погибнет ли в боях.

О героях «Рожденных бурей» он говорит как об очень близких ему людях.

Островский понимает, что дни его сочтены. Но это не обессиливает его. Наоборот! Все его жизненные ресурсы мобилизованы для преодоления трудностей.

— Чем больше наступает на меня болезнь, тем ожесточеннее я борюсь с ней... Каждый лечится как может: один лечится отдыхом, другой лечится трудом. Я предпочитаю лечиться трудом.

Он спешил наверстать упущенное и работал так, что ему искренне могли позавидовать здоровые.

Прежде чем распрощаться с самым счастливым годом Островского, обратимся к тому, что Островский назвал своим «самым дорогим сокровищем». Имеются в виду письма читателей, получаемые им со всех концов нашей Родины. Они исчислялись не сотнями, а тысячами. За один 1935 год их было 5136.

Многие из этих писем шли к нему через «Комсомольскую правду». Мы их прочитывали и пересылали. В этом тоже, конечно, проявлялась наша связь с Островским.

Любопытно, что когда 16 мая 1935 года бюро Сочинского горкома партии слушало творческий отчет Островского, то секретарь горкома привел в своей речи письмо, поступившее в «Комсомольскую правду». Уже тогда груп-

па читателей ходатайствовала о награждении Островского орденом.

Из потока писем мне особенно запомнились два, с которых и были сняты сохранившиеся у меня копии.

Первое письмо принадлежит ученице седьмого класса Ленинградской 1-й образцовой школы Наташе Одинг. Я разыскал ее недавно: она кандидат филологических наук, главный библиотекарь Всесоюзной библиотеки имени В. И. Ленина. Ее письмо дает живое представление о том, как встретила молодежь книгу Островского, чем стали для нее ее герои.

«Я прочитала Вашу книгу «Как закалялась сталь», — писала девушка. — Она произвела на меня очень большое впечатление. Ни одна книга не была для меня такой близкой, понятной, необходимой для жизни... Почти все герои прочитанных мною книг были храбрыми, мужественными, но они были мне как-то чужды, далеки. Павел Корчагин тоже беззаветно мужественный, храбрый, энергичный. Но он мне кажется родным, близким. Читая раньше книги, я искала героинь, на которых могла бы быть похожа. Но таких героинь не было. А прочитав Вашу книгу, я такую героиню нашла, это — Рита Устинович. Образ Риты дал мне ответ на вопросы, над которыми я за последнее время очень часто задумывалась... Риту Устинович я люблю так, как не любила еще ни одну героиню. Я ее люблю как дорогого, близкого мне человека. Часто задумываясь над тем, как мне поступить, я задаю себе вопрос, — а как бы поступила Рита, и всегда поступаю так, как, мне кажется, поступила бы она, будучи на моем месте. «Как закалялась сталь» сейчас для меня самая ценная, дорогая и любимая книга, потому что, прочитав ее, я поняла, что значит человек мужественный и непоколебимый, твердой воли, что значит настоящий товарищ, и я нашла в ней такую героиню, на которую я действительно во всем хочу

быть похожа. Я люблю ее героев, а раньше мне герои прочитанных книг только нравились. И все замечательные качества Вашей книги увеличивает еще то, что все в ней написанное — правда».

Правда революционного прошлого отнюдь не умалила, как мы видим, достоинств книги Островского, а, наоборот, усилила их.

Второе письмо, за подписью Анны Г., прибыло из Киргизии. Оно было значительно длиннее, не письмо, а рассказ, обнаруживающий в авторе литературные способности. Молодая женщина делилась с Островским не только впечатлениями о книге. Она доверительно посвящала его в свою тайну.

Не стану приводить все письмо; оно заняло бы много места. Изложу его суть:

На первых страницах автор знакомил Островского с главным действующим лицом — секретарем окружного неким Э. А.

«Он из шахтеров одного из киргизских угольных рудников. Энергичный, порывистый — он мне очень напоминает твоего Павла Корчагина».

Юноша этот нравился Анне Г., она любовно рисует его портрет. Он вел себя отважно во время кулацких восстаний. И однажды был смертельно ранен.

«Очнулся он в Джалал-Абаде в больнице, куда привезли его из Судака. Пуля пробила голову от виска до виска и вышла, повредив, как видно, глазной нерв, потому что Э. остался жив, но ослеп».

Вначале он было надеялся на то, что врачи вернут ему зрение. Потом, когда надежда исчезла, впал в отчаяние.

Он пытался повеситься, но его спасли. Тогда он зубами перекусил на руке артерию. Но его снова спасли.

«Я нашла его без сил, лежащим на койке. Мертвенно-бледное с желтизной лицо, заросшее черной густой боро-

дой. Когда Э. почувствовал, что я около него, он сказал: «Не ругай меня, я поступил, как жалкий трус, но иначе я тогда не мог».

Анна Г. принялась его утешать и убеждать:

«В твоём состоянии можно и нужно найти себе место в жизни. Сколько на свете здоровых, зрячих, но бесполезных для общества людей. Ты никогда не будешь паразитом. Надо только завоевать себе место, работу, добиться цели, которую ты изберешь».

Но слова ее как бы повисали в безвоздушном пространстве. Им не на что было опереться. Они шли от рассудка, а не от реальной действительности. И тут книга «Как закалялась сталь». Пример, обладающий огромной убеждающей силой.

«Я читала, т. Островский, твою книгу, ее вторую часть с небывалым волнением. Теперь ты понимаешь, почему. Если твой герой — Павел Корчагин действительно существует и он в самом деле слепой — прочти ему мое письмо. Пусть знает про своего товарища по несчастию. И еще говорю: спасибо за книгу».

Э. был возвращен к жизни. И тому помог Островский — Корчагин.

В двух этих глубоко искренних человеческих документах, составивших лишь весьма малую частицу того богатейшего сокровища, каким обладал Островский, с достаточной, на мой взгляд, убедительностью раскрывается содержание слов: необходимая для жизни книга. В них все заслуживает внимания: то, *о чем* в них говорится, и то, *как* говорится. Далеко не каждому писателю читатель откроет свою душу. А здесь — такая острая потребность! Она вызвана доверием читателя к автору Корчагина. Читатель умом и сердцем понял, ощутил, что прочитанная им книга — не плод холодного воображения, а всамделишная реальность, живая плоть и кровь.

Отзвук рожден звуком!

Начался новый, 1936 год. Островский жил в Москве и напряженно работал. Но он не забывал родную «Комсомолку». И «Комсомолка», конечно, помнила о нем. Наши связи укрепились.

29 января отмечалось семидесятилетие Ромена Роллана. «Комсомольская правда» широко отметила этот юбилей. На первой странице она поместила приветствие М. Горького, Г. Димитрова, ЦК ВЛКСМ. Здесь же — письмо Островского к Ромену Роллану.

В этом месте я несколько отступлю от того, что можно назвать моими личными воспоминаниями, и сошлюсь на одно его письмо, которое обнаружил у себя. Письмо это до последнего времени не было известно. Оно дает представление о характере и объеме работы Островского тех дней. Речь идет о его письме-отчете, написанном 5 февраля 1936 года и адресованном членам бюро Сочинского горкома партии.

Прежде всего объясню, как попала ко мне копия этого письма.

«Комсомольская правда», как о том уже говорилось, пересылала Островскому много писем. Островский же, в свою очередь, присылал нам для сведения копии разных своих писем. Так, он прислал, например, копию своего обращения к Шепетовской окружной конференции комсомола, отправленного им из Москвы 1 февраля 1936 года. На копии: «т. Трегубу для сведения». Это обращение не раз публиковалось. Но вот письмо, которое впервые увидело свет лишь в 1968 году, в новом собрании сочинений Н. Островского (издательство «Молодая гвардия»), а до того в изложении и в выдержках приводилось лишь в моих воспоминаниях.

Островский отчитывается за два месяца своей «творческой командировки» в Москву. Он пишет:

«Москва создала мне все условия для творческой работы, и я весь с головой ушел в изучение материалов — документов гражданской войны. Создаю общий план романа «Рожденные бурей» и параллельно с этим работаю над шестой главой. Написаны и отработаны седьмая и восьмая главы, а теперь я возвращаюсь к шестой, незаконченной главе. К маю месяцу я думаю закончить первый том романа и создать общий план и силуэтные наброски всего романа, который буду кончать уже в Сочи, когда приеду в мае месяце».

Он сообщал, что «нажимает на все педали», работает «в две смены» — то есть по двенадцать часов в сутки.

Островский занят не только романом. Харьковскому газетному техникуму присваивается его имя, и он выступает 6 января с речью на торжественном собрании учащихся техникума; речь транслируется из его комнаты. Он диктует отрывки из «Как закалялась сталь» на патефонную пластинку. Комсомольцы Шепетовки избрали его делегатом на IX Всеукраинский съезд комсомола. И он готовится произнести речь: «Мужество рождается в борьбе».

Что еще нового в его жизни? «ПУР РККА¹ вернуло меня в армию (я ведь 10 лет был снят с учета, как вовсе негодный к военной службе). Теперь я вернулся в строй и по этой, очень важной для гражданина Республики, линии. Мне выдан военный билет политкомсостава и присвоено звание бригадного комиссара».

Таков его краткий отчет. «Скоро мы с Вами встретимся, и я подробнее отчитаюсь перед горкомом. Сделаю все, чтобы Вам не пришлось краснеть за меня».

Островский считал нужным не только отчитаться. Как

¹ Политическое управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

член партии, кровно связанный с партийным коллективом, он просит товарищей информировать его о делах сочинской организации, и приглашает своих земляков, кто будет в Москве, прийти к нему в гости, побеседовать.

Нет нужды комментировать это письмо. В нем тот дух партийности, который составлял глубочайшую сущность Островского.

В тот же, вероятно, приезд Островского произошел эпизод, о котором мне как-то напомнил во всех подробностях Б. Шиперович, библиограф издательства «Советский писатель». Он помогал Островскому комплектовать библиотеку. И вот он напомнил мне то, о чем я лишь вскользь упомянул однажды в своей давнишней книге об Островском: как я читал Островскому повесть Бальзака «Неведомый шедевр».

Б. Шиперович пришел тогда к Островскому, чтобы познакомить его с каталогом книг, изданных «Всемирной литературой». Об этом каталоге Островский узнал от А. Фадеева. Шиперович медленно читал Островскому каталог, тут же составлялся список тех книг, которые Николай Алексеевич хотел иметь в своей библиотеке: роман Лесажа «Жиль Блаз», Стендаля «Пармская обитель», произведения Мериме, сельские повести Ж. Занд, несколько недостающих томов Бальзака. Его заинтересовали памфлеты Марата, «Приключение моей жизни» Рошфора, философские произведения Дидро. Из английской литературы в список попали книги Филдинга, Байрона, Уэллса, Дж. Конрада. Из американской — Д. Лондона, Марка Твена, Лонгфелло и Уитмена.

В это время появился я. Они прервали работу.

Островский расспрашивал меня о разных газетных

новостях. Больше всего в тот день его интересовали события в Испании: Мадрид, Барселона, Астурия; подрывная деятельность «пятой колонны»; помощь, оказываемая Гитлером франкистским мятежникам; героизм интернациональной бригады; Кольцов... Таков приблизительно круг тем, которых мы касались. Позже, в ноябре 1936 года, на стене у его постели была прикреплена карта Испании, утыканная красными и черными флажками. Они соединялись нитями, обозначавшими линии фронтов.

Но в тот день я шел к Островскому с определенной целью: в моих руках была повесть Бальзака «Неведомый шедевр». Я принес ему эту книгу и сказал, что Маркс настоятельно советовал Энгельсу прочесть повесть, которую он характеризовал как истинный шедевр, полный прелестной иронии.

— Если ты готов меня сейчас слушать, то я могу прочесть тебе эту небольшую вещь,— сказал я, не ведая, разумеется, того, что только что он изучал каталог «Всемирной литературы» и просил достать ему несколько томов Бальзака.

— Сколько страниц? — спросил Островский. А когда узнал, что меньше тридцати, ответил: — Читай, я весь внимание.

Прежде чем произнести начальную фразу: «В конце 1612 года холодным декабрьским утром какой-то юноша, весьма легко одетый, пагал взад и вперед мимо двери дома, расположенного по улице Больших Августинцев, в Париже», — я познакомил Островского с историей «Неведомого шедевра», с действующими в нем лицами, художниками XVII века, со спорами по эстетике, которые нашли свое отражение в этой повести. Я читал, наблюдая за слушателем, иногда останавливался, чтобы определить, не устал ли он. Но каждый раз, когда наступала пауза, Островский недовольно морщил лоб и говорил: «Почему

задерживаешься? Читай дальше». Он был буквально поглощен тем, что слышал.

«— ...Посмотри на свою статую, Порбус! С первого взгляда она кажется прелестной, но, рассматривая ее дольше, замечаешь, что она приросла к полотну и что ее пельзя было бы обойти кругом. Это только силуэт, имеющий одну лицевую сторону, только вырезанное изображение, подобие женщины, которое не могло бы ни повернуться, ни переменить положения, я не чувствую воздуха между этими руками и фоном картины; недостает пространства и глубины; а между тем законы удаления вполне выдержаны, воздушная перспектива соблюдена точно; но, несмотря на все эти похвальные усилия, я не могу поверить, чтобы это прекрасное тело было оживлено теплым дыханием жизни; мне кажется, если я приложу руку к этой округлой груди, я почувствую, что она холодна, как мрамор! Нет, друг мой, кровь не течет в этом теле цвета слоновой кости, жизнь не разливается пурпурной росой по венам и жилкам, переплетающимся сеткой под янтарной прозрачностью кожи на висках и на груди. Вот это место дышит, ну, а вот другое совсем неподвижно, жизнь и смерть борются в каждой частице картины: здесь чувствуется женщина, там — статуя, а дальше — труп. Твое создание несовершенно. Тебе удалось вдохнуть только часть своей души в свое любимое творение. Факел Прометея угасал не раз в твоих руках, а небесный огонь не коснулся многих мест твоей картины».

Факел Прометея!.. Как это было близко и понятно Островскому. Этот факел не раз угасал и в его руках. Но он воспламенял его снова и снова. Всю свою душу вдохнул он в свое творение. И теперь, работая над «Рожденными бурей», снова отдавал роману жар своей души¹.

¹ «Делаю все, чтоб новое дитя родилось разумным и красивым», — писал Островский в статье «Счастье жить».

Блестящие монологи демонического старика Френхофера, обращенные к Франсуа Порбусу и Никола Пуссену, были, казалось, обращены и к нему. Поэтому с такой заинтересованностью и слушал Островский:

«— Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать. Ты не жалкий копийист, но поэт! — живо воскликнул старик, обрывая Порбуса властным жестом. — Иначе скульптор исполнил бы свою работу, сняв гипсовую форму с женщины. Ну так попробуй сними гипсовую форму с руки своей возлюбленной и положи ее перед собой, — ты не увидишь ни малейшего сходства, это будет рука трупа, и тебе придется обратиться к ваятелю, который, не давая точной копии, передаст движение и жизнь. Нам должно схватывать душу, смысл, характерный облик вещей и существ. Впечатление? Впечатления! Да ведь они — только случайности жизни, а не сама жизнь! Рука, раз я уже взял этот пример, рука не только составляет часть человеческого тела — она выражает и продолжает мысль, которую надо схватить и передать...»

Лицо Островского нервно подрагивало от напряжения.

Франсуа Порбус весьма почтительно относился к старику Френхоферу, которого даже именовал учителем. Но он далеко не во всем соглашался с ним. Он предостерегал своего ученика Никола Пуссена от заблуждений Френхофера: «...наш старик, художник искусный, но в такой же мере и сумасшедший».

Перед Островским, страница за страницей, раскрывалась трагедия мастера, который, стремясь к высшему идеалу искусства, пошел ложной дорогой: оторвался от действительности, занялся поисками самодовлеющей формы, впал в субъективизм...

Десять лет он работал в экстазе над своим творением

«Прекрасная Наузеза». И чего достиг? «Я вижу здесь только беспорядочное сочетание мазков, очерченное множеством странных линий, образующих как бы ограду из красок», — говорит Пуссен. Потрясенный этим «открытием», старик сжигает свои картины и умирает.

Островский долго молчал после того, как я кончил читать. Потом медленно, на память, повторил:

«Факел Прометея угасал не раз в твоих руках... Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выразить...» И от себя: «Здорово!»

Не могу точно вспомнить, о чем у нас тогда шел разговор, что я просил Островского сделать для газеты и на что он дал согласие. Но помню, что он не сдержал своего слова: помешала болезнь. Мы встретились после этого, и он сказал:

— Корчагин так бы не поступил. Корчагин сдержал бы свое слово.

Я запомнил эту фразу, так как усмотрел в ней нечто весьма значительное, подтверждающее то якобы, что Корчагин был и для самого Островского примером, достойным подражания.

Эти его слова, обнародованные мною, легли потом «краеугольным камнем» в основу той самой теории, с помощью которой доказывалось, что Корчагин, мол, одно, а Островский — совсем другое, что Островский будто бы уступает Корчагину, что их нельзя-де сблизить, а нужно отделять и отдалять.

Но реальный Островский, тот самый, с которым я не раз встречался, был отнюдь не меньше Корчагина. Можно сказать, что он претерпел трудности значительно большие, нежели те, о которых поведал в «Как закалялась сталь». Островский писал: далеко не обо всем им пережи-

том. Он тут не прибавлял, а убавлял¹. Как же тогда понимать его слова: «Корчагин так бы не поступил...»? Что они могли значить?

Помогла А. П. Лазарева (секретарь Островского), которая присутствовала при этом моем разговоре. После того как я обнародовал слова Островского, она спросила: «Вы всерьез это приняли? А ведь Николай Алексеевич иронизировал». И я начал припоминать его голос, все предыдущее и последующее. Да, он сказал то, что я привел. Но как сказал? С каким подтекстом? Он не был мною сразу уловлен. Островский действительно иронизировал. Смысл был такой: «Вот ты верил в то, что раз я, «живой Корчагин», пообещал, значит, все в порядке. Но и Корчагин человек. Болезнь и его вышибает из седла».

Я тогда не заметил иронической интонации Островского. И в том позже покаялся. Но любопытно, что это ничуть не смутило тех, кто сделал из его слов «краеугольный камень». И они спустя много лет принялись усердно повторять то, что было мною неправильно истолковано.

Прежде чем перейти к апрелю, знаменательному для Островского прежде всего тем, что тогда проходили

¹ Подтвержу это выдержкой из письма Островского от 1 июня 1933 г. своему редактору, который обращал его внимание на то, что в рукописи второй части «Как закалялась сталь» много места уделено болезням Корчагина. Островский ответил: «Ты пишешь, что «много болезней», а Корчагина ведь резали девять раз, мною же записано три...» Говоря о девяти операциях, несомненных Корчагиным, он в данном случае подразумевал, разумеется, себя.

В том же письме читаем: «Вообще же автобиографическая повесть мучительно трудная вещь. Ведь тысячи могут указать пальцем и произнести: «Ты создал сверхгероя, которого в жизни вообще не бывает», и если под этим героем кое-кто подразумевает, то можно себе представить все переживания автора».

IX Всеукраинский и X Всесоюзный съезды комсомола, я обнаружю две страницы, обнаруженные недавно в моем архиве. Они датированы мартом.

Речь идет о литературном вечере, посвященном книге Островского, который проходил в туберкулезном Баландинском санатории. Материал об этом вечере мы не смогли, к сожалению, использовать тогда в газете. А потом он, как говорили, утратил свое оперативное значение, устарел.

Но устарел ли он?

На вечере присутствовало 115 больных и 30 — обслуживающего персонала. Выступило 12 человек. Культработник впервые наблюдал такую активность. Да и то, что говорили, было не совсем обычно.

— Товарищи! — начал, например, Лиджиев (комсомолец, калмык). — Я читал классиков. Отлично пишут. Но они — писатели другого мира. Их герои меня не волнуют. Чужие. Павел Корчагин же — близкий, родной. Он поднял дух во мне, больном человеке.

Лиджиева сменил участник гражданской войны агроном Бондаренко.

— Книгу «Как закалялась сталь» я прочел здесь. Она на меня так повлияла, что я решил во что бы то ни стало выздороветь. А сильное желание — это уже многое.

— Да, — подтвердил Кульнев (тоже работник сельского хозяйства). — Островский учит и нас, больных, не падать духом.

Рабочий-комсомолец Таранов сказал о том же посвоему:

— Книга Островского внушила мне мысль, что и больной должен быть мужественным.

Выступила студентка пединститута комсомолка Левина:

— Павел Корчагин учит нас борьбе за дело революции: везде и при любых обстоятельствах.

За Левиной — Иванова (комсомольский работник и преподаватель):

— Врачи и окружающие меня люди всегда напоминали мне о моей тяжелой болезни. Островский же дал мне возможность забыть о ней. Его книга оказалась для меня самым эффективным лекарством: она изменила мою психологию. Я поняла, что навстречу режиму лечения должно происходить мое самодвижение, самовоспитание воли, должна идти моя работа над собой.

Ее поддержал Пастухов (тоже комсомольский работник):

— Я считал себя уже погибшим. Но вот обдумал прочитанное и пришел к убеждению, что рано хоронить себя. Я еще нужен и могу работать даже с еще большей энергией, чем прежде.

Выступило еще пять человек. И все сошлись на том, что «слово Островского обладает чудодейственной целебной силой».

Товарищ Л. Словохотов, приславший нам корреспонденцию об этом необычном вечере, предлагал:

«А что, если наряду с рентгеном, физиотерапией, покоем, питанием использовать и лечение книгой. Она может перевести эмоциональное состояние больного с одного регистра на другой, дать устойчивость нервного тонуса. Ведь еще 5000 лет назад над входом в библиотеку повелителя Египта красовалась надпись: «Душевное лекарство».

Справедливо! Не правда ли?

«Многое в санаториях точнейшим образом расписано и взвешено. Но кто, что и как здесь читает, ведомо лишь библиотечному абоненту».

И это верно!

Состарившиеся от времени страницы не утратили, как мы видим, своей актуальности и вполне заслужили то, чтобы о них вспомнить¹.

В первых числах апреля в «Комсомольской правде» появились две информационные заметки, связанные с Островским. В одной из них сообщалось, что театр имени Мейерхольда готовит спектакль по материалам романа «Как закалялась сталь». Спектакль предполагалось показать в дни девятнадцатой годовщины Октября. А во второй — о том, что книгу Островского читают уже и слепые. Ученица 7-го класса ленинградской школы при Институте слепых Соня Васильева пять месяцев, по вечерам, после занятий, под диктовку, выдавливала (по системе Брайла) на толстой бумаге 1200 страниц текста.

Еще одна заметка была помещена в конце апреля: книга Островского выходит в Праге и выйдет в Лондоне.

Но апрель 1936 года был знаменателен для Островского, как было уже замечено, прежде всего комсомольскими съездами: IX Всеукраинским и X Всесоюзным.

6 апреля он выступал по радио на съезде комсомола Украины. Его речь транслировалась из московской квартиры и 8 апреля увидела свет на страницах «Комсомольской правды».

...Островский всем сердцем своим был связан с Украиной. Его радовало то, что «Как закалялась сталь» сразу

¹ То, о чем говорилось на литературном вечере в туберкулезном Баландинском санатории, вполне соответствует содержанию такого, например, научного труда, как книга К. П. Платонова «Слово, как физиологический и лечебный фактор. (Вопросы теории и практики психиатрии на основе учения И. П. Павлова)». (М., Медгиз, 1957).

же перевели на украинский язык. Он даже писал: «...скоро считаешь ее на родном языке, на котором и должна она быть написана». Он торопил издательство ЦК ЛКСМУ «Молодий більшовик», чтобы оно выпустило «Як гартувалася сталь» к пятидесятилетию комсомола Украины. И телеграфировал:

«Комсомолу Украины, воспитавшему меня, в честь пятидесятилетнего юбилея посвящаю эту книгу».

А когда в июле 1934 года книга появилась, когда ее прочли ему, заметил: «Мне кажется, что на украинском языке книга выигрывает, ибо диалоги происходят на родном языке действующих лиц».

Он послал тогда один из первых экземпляров комсомольцам Шепетовки. И был счастлив, узнав, что там решили познакомить с нею всю организацию. «Приветствую это и глубоко тронут комсомольским вниманием», — писал Островский.

Комсомол Украины горячо поддержал его. Прибыло письмо от секретаря ЦК ЛКСМУ С. Андреева:

«Я не принадлежу к особо старым комсомольцам: я в комсомоле всего с 1920 года, но я могу сказать, что ваши книги (имелись в виду две части «Как закалялась сталь», которые вышли порознь. — С. Т.) правильно описывают напряженную, дружную, веселую, бодрую работу и жизнь первых лет комсомола. Ваши две книги несомненно принесут большую пользу для воспитания молодого поколения, для передачи героических традиций Ленинского комсомола Украины...»

Откликнулась молодежная печать.

...Сейчас он выступал как делегат IX Всеукраинского съезда с той самой речью, которая вошла в историю комсомола под названием «Мужество рождается в борьбе».

За четыре дня до того Островский отправил телеграмму своему другу Л. Берсеневу в Сочи:

«Выступаю шестого девять сорок вечера транслирует РЦ-3. Передай маме. Устрой слушание».

С волнением читали его речь, а тем более слушали.

— Десять лет прошло с того дня,— говорил Островский,— когда я последний раз выступал на конференции комсомола. Жестокая болезнь пыталась оторвать меня от родной комсомольской семьи, но это ей не удалось, и я с большой гордостью и радостью снова вхожу на эту невидимую трибуну как делегат Всеукраинского съезда комсомола. Сердце радостно стучит, и все мои мысли и чувства устремлены к вам, мои молодые товарищи и соратники.

Он посвятил свою речь образу молодого человека нашей страны, тому, что больше всего ценил в нем.

Он говорил о нашем мирном труде, который нуждается в том, чтобы его укрепляли и защищали.

— Мы все — в мирном труде. Наше знамя — это мир. И это знамя партия и правительство подняли высоко. Вот почему все трудовое человечество смотрит на нас как на свою надежду.

Он видел близкую схватку с фашизмом, призывал к бдительности и пророчествовал нашу историческую победу.

— Мы знаем, что, когда на наши границы ступит подлая нога фашистских бандитов,— страна встанет и страшным ударом ответит на удар и сокрушит каждого, кто посмеет посягнуть на священные рубежи.

Позором клеймил он трусов.

— Трус — почти предатель сегодня и, безусловно, изменник в борьбе.

Островский славил героический труд и мужество, рождающееся в борьбе.

И как девиз:

— Только вперед, только на линию огня, только

через трудности к победе, и только к победе — и никуда иначе!

После выступления на съезде комсомола родной Украины ему предстояло подняться на новую невидимую трибуну кремлевского зала: он был делегатом X съезда ВЛКСМ от винницкой организации.

Еще в начале января Островский написал статью «Репорт X съезду ВЛКСМ». Вот выдержка из нее:

«Самое дорогое для меня в том, что десятый съезд я встречаю как боец Ленинского комсомола, как действительный член ВЛКСМ, своей работой в комсомоле и для комсомола сохранивший право на высокое, почетное звание комсомольца. Я встречаю комсомольский съезд в работе над новым романом «Рожденные бурей». Все мои дни заполнены образами молодых бойцов за власть Советов, и комсомол героических лет гражданской войны, родными неразрывными узами связанный с комсомолом сегодняшних дней, владеет моим умом и сердцем».

Съезд продолжался десять дней. Радио соединяло квартиру Островского с кремлевским залом, где проходил съезд.

— Я самый дисциплинированный делегат, — шутил он. — Не пропускаю ни одной речи, не разгуливаю по городу в часы заседаний, даже покурить не выхожу.

Внимательно слушал он речи ораторов. Когда в съездовском зале возникла песня, он тихонько подтягивал. В перерывах между заседаниями он готовился к своему выступлению, которое должно было состояться вечером 17 апреля. Делегаты ждали его. О книге Островского упомянул в отчетном докладе о работе ЦК ВЛКСМ Генеральный секретарь ЦК ВЛКСМ А. В. Косарев. О ней горячо говорил представитель Кировского края. Зал встретил аплодисментами его слова:

— Прав товарищ Косарев, упрекая некоторых наших

писателей в ожирении, в отрыве от борьбы. Где он, герой нашего времени? Только Островский, делегат нашего съезда, написал замечательное произведение. Скажем ему за это наше комсомольское спасибо!

Много места Островскому уделил в своей речи на съезде редактор «Комсомольской правды» В. Бубекин. Он сказал, что проведенное Центральным управлением народнохозяйственного учета обследование читательских запросов рабочей молодежи предприятий Москвы, Донбасса, Иванова установило, что наибольшей популярностью пользуются книги Толстого, Горького, Р. Роллана, Бальзака, Шолохова и «Как закалялась сталь» Островского.

Делегат Курска пожаловался на то, что у них в области почти нельзя достать книгу Островского. А делегат Иванова рассказала об одной из первых, посвященных ей читательских конференций.

Я был у Островского в дни съезда. О чем мы тогда говорили?

Несколько дней тому назад я вернулся из Тессели (Крым), где жил А. М. Горький. Перед поездкой к Алексею Максимовичу я виделся с Островским, и он передал через меня Горькому свою книгу с дарственной надписью. Сейчас я рассказывал ему о своей поездке¹. Островский расспрашивал: как Алексей Максимович выглядит, как он отнесся к его книге... Еще два года назад до Островского дошел слух, что Горький якобы вот-вот опубликует статью о «Как закалялась сталь». Он ждал этого, волновался. Но Алексей Максимович, как выяснилось из моего разговора с ним, еще не читал книги Островского². Он

¹ Воспоминания о ней — «Встреча в Тессели» — вошли в мою книгу «Спутники сердца» («Советский писатель», 1964).

² См. в этой связи статью: «Пометы на полях».

поблагодарил за подарок и пообещал: «Обязательно прочту».

Островского это насторожило, даже огорчило:

— Что же, придется ждать.

Потом он сказал, что хочет посоветоваться о своей речи на съезде. И тут же принялся ее импровизировать.

Ему не удалось, к сожалению, выступить на съезде: помешал приступ болезни. Но вот после смерти Островского были напечатаны тезисы его произнесенной речи, и я узнал в них то, что слышал от него в тот день.

Островский говорил о месте литературы в народной жизни, об ответственности писателя перед народом. В тезисах это выглядит так:

«...На линии огня взвод передовых мужественных бойцов. Они не отстали от стремительного победного движения. Их оружие не заржавело. На линию огня вывел красных партизан Александр Фадеев, собирает вокруг тихого Дона большевиков-казаков Шолохов, и вывел в бой балтийских революционных матросов Всеволод Вишневский. Появился со своими «Всадниками» Яновский... Есть в этом взводе еще десяток хороших бойцов... А где же остальные?.. Высокий, седоусый, покрытый славой командир нашего батальона, великий мастер своего дела, яростно крутит свой ус, шепчет сурово и возмущенно: «Эх, эти уж мне обозники: завтракают, поди, километров пятьдесят от фронта. Застряла у них там кухня в болоте. Хоть бы не срамили мою седую голову».

Островский был согласен с той критикой, которая прозвучала на съезде в адрес писателей. И он хотел «подсыпать огоньку». В тезисах есть такое место:

«Наша молодежь... требует от своих писателей ярких, волнующих, правдивых, талантливых книг. И дело нашей чести — удовлетворить эти требования».

Дальше в тезисах выделены три подзаголовка: «Равне-

ние на вершины», «Опасность славы», «Новые чувства». Что скрывалось под каждым из них?

«Равнение на вершины». Островский разъяснял:

«Пусть книг будет меньше, но они должны быть ярче. Серой книге нет места на книжной полке... Учить могут только те, кто знает больше тех, кого хотят учить. Писатель должен быть корчевателем остатков капитализма в сознании людей».

Он говорил об ответственности писателя перед народом:

«Надо оберегать высокое звание писателя... Только честным трудом... непрерывной учебой... непосредственным участием в борьбе и строительстве — писатель завоеует свое передовое место в строю. Нельзя жить только старой славой, старыми победами. Мы знаем, что передовые люди нашей страны... не останавливаются на достигнутом, а героическим трудом стремятся удержать в своих руках трудовое первенство... А писатели нередко, написав хорошую книгу, почивают на лаврах...»

Подзаголовок «Опасность славы» достаточно ясен. Островский напомнил, что скромность украшает бойца, а кичливость, зазнайство его позорят. Это — капиталистическое, старое, это от индивидуализма. «Крепко чувствуй всегда под ногами родную почву, живи с коллективом, помни, что он тебя воспитал. Тот день, когда ты оторвешься от коллектива, — будет началом конца».

Наконец, «Новые чувства». Островский назвал их: дружба, честность, коллективизм, гуманность. В чем источник их новизны? В любви к нашей Родине, помноженной на ненависть к врагам. «Воспитание мужества, отваги, беззаветная преданность революции, ненависть к врагам — наши законы». Писатели должны своим искренним, умным, образным словом помочь утвердиться этим законам в душе каждого советского человека.

Об этом думал в те дни Островский, сердцем своим обращенный к кремлевскому залу X съезда комсомола,

Лето Островский провел в Сочи, в новом доме, подаренном ему правительством Украины. Дом построили в одном из самых живописных мест, на крутом косогоре, с которого открывался вид на море. Он был светлым, просторным. «Комсомолка» информировала своих читателей о новом доме Островского: она поместила его эскиз, назвала автора проекта — архитектора-комсомольца Я. Кравчука, сообщила и о том, что совхоз «Южные культуры» — эта фабрика субтропических цветов на Черноморском побережье — взялся за озеленение усадьбы.

Связь редакции с Островским не прерывалась.

Переезд из Москвы в Сочи дался ему тяжело. И первое письмо пришло тогда не от него, а от его сестры Екатерины Алексеевны, которая постоянно за ним ухаживала. Оно начиналось словами: «Коля поручил мне подробно вам написать о его житье-бытье». Далее шло:

«Самое главное и основное, что здоровье Коли очень плохое. После приезда мучили дожди и холод, а теперь одолевает жара. Извелся парень ужасно. Переехать куда-нибудь в другое место не так легко, т. к. дорога туда измучает еще больше. Несмотря на такую слабость, он все время работает. Запретить ему категорически нельзя. В этом вся его жизнь. Это дает ему силы переносить физические страдания. (Конечно, все это пишу только для вас.) Он вас крепко любит...»

Письмо от самого Островского пришло несколько позже.

«Здоровье мое шатнулось было вниз, — писал он 14 июня, — но я вовремя это заметил и восстановил равно-

весие. Завтра вновь открываю рукопись — приступаю к делу».

Островский сообщал, что у него были А. А. Фадеев и Ю. Н. Либединский. «Комсомольская правда» завела тогда страницу «Литературная жизнь». Он подсказывал: «Было бы прекрасно, если бы ты дал задание узнать в Книжной палате тираж любимых народом книг и опубликовать их, так 50—60 названий. Тогда писатели знали бы, какое они занимают место в строю. Это было бы движущим стимулом». И в самом конце письма: «С большой тревогой слежу за состоянием здоровья Алексея Максимовича».

Горький умер 18 июня. В тот же день мы получили телеграмму из Сочи:

«Потрясен до глубины души безвременной потерей. Нет больше Горького. Страшно подумать об этом. Еще вчера жил, мыслил, радовался с нами гигантским победам родной страны, которой отдал весь свой творческий гений. Какая ответственность ложится на советскую литературу сейчас, когда ушел из жизни ее организатор, вдохновитель.

Прощай, милый, родной, незабываемый Алексей Максимович!

Николай Островский».

...В первых числах августа в Сочи у Островского побывал Андре Жид.

Андре Жид — известный французский реакционный писатель, проповедовавший крайний индивидуализм и аморализм — в начале тридцатых годов заявил о своем «преображении», о своей симпатии к Советскому Союзу. Это открыло ему путь в нашу страну. Он участвовал в похоронах А. М. Горького: произнес речь от имени Международной ассоциации писателей.

Сразу же после встречи с Андре Жидом Островский отправил мне письмо, которое было 16 августа помещено в «Комсомольской правде». Но с тех пор оно не включалось ни в один сборник Островского и не вошло в его Собрание сочинений. Вот почему я считаю нужным воспроизвести его.

8.VIII-36 г.

Сочи, ул. Островского

Дорогой Сема!

Только что ушли Андре Жид и его спутники.

Встреча эта меня взволновала и растрогала. Еще чувствую в своей руке тепло руки старика, его крепкое пожатие и случайно упавшую на мою руку слезу...

Неожиданно для самого себя он меня растрогал своей человеческой искренностью. И мое сердце открылось. Я поверил, я почувствовал искренность его движений.

У него большая рука, рабочая. Я сказал ему об этом. Он радостно засмеялся.

«Я благодарю Вас за любезное приглашение, но если бы его даже не было, я все равно посетил бы Вас», — говорит он.

Я слушал его мягкий, глубокий голос, ласковые слова на незнакомом языке, и мне передавалось его волнение.

«Я и мои друзья по приезде во Францию сделаем все, чтобы Ваша книга стала известной французской молодежи и нашла среди нее так же много пламенных друзей, как и в Вашей стране», — переводят мне его слова. Пальцы его крепко сжимают мою руку.

Он говорит о роли писателя.

«Да, радость писать для миллионов не сравнима ни с чем. Я хотел бы писать о любви больше, чем о ненави-

сти, но это в будущем. А сейчас мы, писатели на Западе, должны писать не только для кого-то, но и против кого-то», — говорит он.

«Конечно, если талантливейший художник пишет для народа, то он вызывает ненависть фашистов, врагов народа. Но как ничтожны эти капли яда против моря народной любви и дружбы, которыми щедро награждает трудовой народ честных, правдивых художников, принесших свое дарование на службу народу», — отвечаю я. «О, да! — восклицает он. — Я это понял и почувствовал как никогда».

Среди беседы Андре Жид, ласково прикасаясь пальцами к моей руке, говорит:

«Бывает так, что слова излишни. Их заменяет теплота наших рук. И ваша радостная улыбка говорит мне больше, чем самые прекрасные дружеские слова». Он с глубоким волнением говорит о Горьком. Рассказывает, как потрясла его смерть Алексея Максимовича. «Я стоял потрясенный до глубины души и смотрел на это человеческое море, на этот бесконечный поток, пришедший сказать последнее прости своему любимому другу, писателю не только Советской страны. Это говорит об огромной связи между народом и его художником. Я этого нигде не видел и никогда не забуду...»

Прошел час. Андре Жид тревожится, не устал ли я. Я протестую. Мы сидим еще. Он спрашивает, над чем я работаю. Уходя, он нежно целует меня в голову. Мы прощаемся.

Мне читают его слова на первой странице его книги «Путешествие в Конго»: «8 августа 1936 г. Товарищу Островскому — братски Андре Жид». Прощайте, товарищ Андре Жид! Счастливого пути! Пусть крепнет дружба между народами Советского Союза и Франции... Счастливого пути!

«До свиданья», — говорит он по-русски. Они уходят, провожаемые моей семьей».

Поцелуй Андре Жида оказался иудиним поцелуем. Вернувшись во Францию, он выступил с книжонкой, полной грязных инсинуаций против нашей страны. Этот его пасквиль «Возвращение из России» получил должную оценку на страницах печати. Островского он изобразил страстотерпцем и мучеником, причислил его к «лику святых».

Островский, узнав о коварстве французского гостя, писал матери за несколько дней до своей смерти:

«...Ты, наверное, читала о предательстве Андре Жида. Как он обманул наши сердца тогда! И кто бы мог подумать, мама, что он сделает так подло и нечестно! Пусть будет этому старику стыдно за свой поступок! Он обманул не только нас, но и весь наш могучий народ... Я тяжело пережил это предательство, потому что искренне поверил его словам и слезам и в то, что он так восторженно приветствовал в нашей стране все наши достижения и победы».

Напомню в этой связи и слова Ромена Роллана из его статьи «Николай Островский», которая впервые была опубликована в «Комсомольской правде» и затем стала предисловием к французскому изданию «Как закалялась сталь».

Ромен Роллан писал:

«Андре Жид, который посетил его (Островского. — С. Т.) и отдал ему дань почтительного восхищения, не сумел ни увидеть, ни услышать его, если изображает в виде «души, лишенной почти всякого контакта с внешним миром и не имеющей возможности найти основу для того, чтобы развернуться». Протягивая ему руку, он вообразил, что она может быть «средством связи с жизнью» для Островского. Но ведь из них двоих именно умирающий

мог «привязать» к жизни другого. Как не почувствовал это Жид? Ведь этот горящий факел активности должен был обжечь ему пальцы».

25 августа 1936 года Островский, находясь в Сочи, писал жене, в Москву: «Прошу тебя передать в «Комсомольскую правду» товарищу Трегубу С. рукопись «Рожденные бурей», которую тебе привезет товарищ Кац. Если хочешь, прочти прежде сама, только быстро».

Сигизмунд Кац — известный ныне композитор, часто бывал тогда у Островского, играл ему. Островский шутиливо говорил о нем: «Мой Гольденвейзер».

Вскоре я получил аккуратно переплетенную рукопись и прочел ее. Предстояла встреча с автором.

...Вторую половину сентября и первую половину октября я провел недалеко от Сочи, под Туапсе, в доме отдыха ЦК ВЛКСМ «Магры». Уезжая туда, я захватил с собой «Рожденные бурей» и... три тома писем Виссариона Белинского.

Я знал, что Островский очень тревожится. «Опасность творческой неудачи для меня вполне актуальна», — писал он еще в марте 1935 года. Позже, посылая рукопись в Союз писателей, в ЦК ВЛКСМ, в издательства, редакции центральных газет, отдельным товарищам, он настойчиво подчеркивал, что ждет объективной и нелицеприятной критики. «Судите без скидки...» «Количественно сделано много, но о качестве скажете Вы». «Если отзывы будут положительные, тогда будем печатать. Если же нужно будет перерабатывать, то я немедленно займусь этим...» И еще более определенно и резко: «Если книга, по мнению работников «Правды», скучна, неинтересна, неувлекательна, не способна послужить нашей молодежи, ее большевистскому воспитанию, то пусть «Правда» ска-

жет мне об этом раньше, чем я эту книгу напечатаю. Мне незачем выходить в свет с неинтересной книгой».

Выдержки эти взяты из разных писем. Они дают представление о душевном состоянии Островского.

Накануне отъезда из Москвы у меня был долгий разговор с В. П. Ставским, который тогда работал секретарем Союза писателей СССР. Мы сидели до поздней ночи у него на квартире, и он убеждал меня в том, что «Рожденные бурей», которые он уже прочел, Островскому не удались и печатать их не следует. Он говорил, что Островский взялся не за свою тему, что он не знает шляхетскую среду, что напрасно он показал в таком «выгодном свете» Людвигу Могельницкую и напрасно позволил своим молодым героям потерять бдительность...

С тем большим, разумеется, критическим вниманием я читал рукопись. Было сделано много разных пометок. Но мой вывод решительно разошелся с тем, что мне пришлось слышать. Я убедился в другом: «Рожденные бурей» нужно печатать. И подумал о том, что хорошо было бы до появления книги опубликовать отрывки из нее в газете. В «Магсах» отдыхал тогда и ответственный секретарь «Комсомолки» Мирон Перельштейн, который взялся читать рукопись.

Я был готов к разговору с Островским и сообщил ему об этом открыткой. Через несколько дней прибыл ответ: «Дорогой Сема! Жду тебя. Приезжай в любое время. Крепко жму руку. До скорого свиданья. Твой Николай Островский». А вслед за этим, через день, 20 сентября, телеграмма: «Жду тебя любое время. Островский».

Я выбрался к Островскому только через пять дней. В том были «повинны» три тома писем Белинского. Несколько дней я старался ни с кем не встречаться и ни о чем не разговаривать. Читал письма Белинского: с утра до вечера, в комнате, на пляже (благословенна та пора!).

Он любезно и доверчиво ввел меня в свой дом, познакомил с родителями, друзьями, дал мне возможность пережить все то, что пережил он в последние десятилетия своей жизни.

Двадцать пятого сентября я отправился на дачном поезде в Сочи, к Островскому.

...И вот мы встретились на веранде его нового дома. Островский лежал, озаренный солнцем, среди цветов и деревьев. На нем был суконный воинский полуфренч, из-под воротника которого выглядывала расшитая украинская рубашка. Нижняя половина туловища прикрыта шерстяным одеялом, усеянным крупными отрисками листьев. Он, видимо, старался разгадать то, с чем я к нему пришел. Я подсел к его кровати, протянул руку и сразу же, чтобы его успокоить, сказал то, что думал:

— От души поздравляю с новой книгой. Ее можно и нужно издавать.

На лице Островского проступила улыбка.

Тот, кто с ним хоть раз встречался, никогда не забудет его улыбки: она могла быть открытой и застенчивой, светлой и мрачной, нежной и иронической, одобрительной и осуждающей.

Николай Асеев писал в свое время:

«Слепые глаза его не видели — видела все вокруг его улыбка. Руки не могли обнимать — обнимала мир улыбка. Не двигались ноги — вперед все время упорно пробиралась улыбка. Огромный выпуклый лоб — центральный штаб управления волей и действием посылал ее в разведку в живой мир, против смерти, уныния, упадка».

Вот что такое улыбка Островского!

Я открыл рукопись, которую взял на время у Мирона Перельштейна, и принялся излагать свои соображения:

общие и частные, связанные со всем романом и с отдельными его главами, страницами...

— Следовало бы полнее характеризовать действующих в романе лиц, их внешний и внутренний облик. Нет пейзажа. Чувствуется боязнь рассуждений. Роман нужно обогатить и эмоционально. Длинноваты и скучноваты порой диалоги.

Я листал рукопись и каждое из этих общих замечаний подкреплял примерами.

Островский напряженно слушал. Две резкие, прямые линии легли у краев его рта. Время от времени он касался своими тонкими вздрагивающими пальцами моей руки, и мне передавалось его волнение.

— Как нужна нам честная критика! — сказал он. — Для меня даже самая горькая правда лучше сладкой лжи. Книга — не личное дело автора. Она пишется для миллионов. В жизни бойца бывают победы и поражения. Нужно уметь извлечь пользу из поражений, учиться на них. Подло хвалить то, что плохо. Критика обязана сказать писателю о его неудачах, обратить внимание на слабые стороны его творчества.

Между нами состоялся примерно такой разговор.

Я: Откуда у тебя знание так называемой аристократической среды?

Островский: В значительной мере из книг. Но не только! Моя мать служила когда-то прислугой в польской аристократической семье. А бабушка — прачкой у графов Могельницких. В детстве пришлось много слышать о них. Запали в душу рассказы о том, как спесивые бары били за плохо выглаженную салфетку, как паны насиловали крепостных девушек...

Я: Бабель, с которым я недавно беседовал, сказал:

«Чтобы писать, надо в совершенстве знать жизнь, но,

зная ее, как бы забыть о ней и писать, вспоминая то, что знал». В твоём романе видны следы таких воспоминаний. И в нём, как мне кажется, сказалось то, что мы называем «творческой интуицией». Некоторые отрицают ее, видя в ней нечто идеалистическое. Но она тем не менее существует и может быть материалистически объяснена. Художник без творческого воображения — не художник: оно помогает ему найти неизвестное, ликвидировать «белые пятна». Ты верно, на мой взгляд, представил Людвигу Могельницкую, постиг ее душу.

Островский: У многих, как я знаю, она вызывает опасения и даже возражения. Настороженно спрашивают: куда я ее поведу дальше? Сейчас она на вершине своего гуманизма и я не собираюсь поднимать ее выше. Неверно было бы жизненно и художественно представлять семью Могельницких в виде одних шакалов.

Я: Правильно! Из чуждой среды выходили ведь и пламенные революционеры.

Островский: Нельзя идти по линии штампа и всех людей чуждого нам лагеря красить в черный цвет. Я не боюсь показать Людвигу человечной. Тот же, кто истязает, вешает рабочих, ведет себя как дикий зверь, а дома, в семье — сентиментален, идилличен — выглядит еще страшнее и отвратительней. Это нежность волка.

Я: Людвигу тебе удалась. Тех, у кого она вызывает опасения и возражения, должно разоружить то, что все лучшее, даже из чуждой среды, переходит в лагерь революции.

Островский: Да, все самое благородное уходит от них и переходит к нам... И это — одно из свидетельств обреченности старого и враждебного нам мира.

В этой связи он назвал Кропоткина, Дзержинского, старого большевика Августа Потоцкого — тогдашнего ответственного секретаря «Правды».

— А ведь он выходец из тех самых Потоцких, о которых я пишу в «Рожденных бурей».

Островского интересовало, удалось ли ему художественно убедительно показать то, что хотелось. Сумел ли он выразить те мысли и чувства, какие им владели. Как читается книга? Нет ли скучных страниц?

Я: Редко найдешь книгу, в которой все читалось бы с одинаковым интересом. Бальзака, например, читаешь не переводя дыхание, и у него есть страницы, которые с трудом проглатываешь. В «Рожденных бурей» имеются замечательные главы: шестая, седьмая — Андрий и Василек в котельной.

Островский: Эта сцена навеяна беседой с Лахути¹, который передал мне свой разговор с Горьким. Алексей Максимович призвал писателей дать сильные характеры, показать людей героического действия, которые могли бы стать примером для молодежи. К этому я и стремился. Птаха не растерялся в минуту опасности. И он один стоит многих.

И в этой связи Островский вспомнил эпизод гражданской войны: как семнадцать буденновцев обратили в бегство целую дивизию белополяков.

Островский посвящал меня в замысел всего романа.

— Не для красного словца я назвал его «Рожденные бурей». Хочу показать процесс формирования поколения, рожденного бурей революции, закаленного в борьбе. Разве можно сравнить хоть один день их жизни с месяцами и годами размеренного мещанского существования?! Хочу показать столкновение двух миров, двух духовных сил. Польские паны хвастались тем, что они, мол, истинные носители культуры, ее защитники. А сколько прекрасных

¹ Иранский поэт. В то время был одним из секретарей Союза писателей СССР.

памятников украинской культуры было ими разрушено хотя бы в Киеве! Отвратительный, разнузданный вандализм!

Я никогда не видел и ни от кого не слышал, чтобы наши красные части открывали огонь по безоружным, беззащитным людям, выбросившим белый флаг. А ведь паны считали, что на войне все оправдано.

В ожесточенной схватке с вооруженным врагом рука бойца не останавливалась перед беспощадным ударом. Но вот противник бросает оружие и сдается. Он дрожит, ждет суровой расправы. Но бойцы не мстят. Они, только что пылавшие справедливым гневом, ведут себя по-другому: ведь перед ними уже безоружная толпа бывших крестьян и рабочих, обманутых офицерем. И если какой-то затесавшийся в наши ряды бывший махновец злобно бьет пленного, желая снять с него шинель, вмешивается пожилой рабочий-шахтер и кричит: «За что, гад, человека ударил?» Его дружно поддерживают. И мародер отступает, зная, что ему несдобровать: под горячую руку могут тут же и зарубить.

Таков наш пролетарский гуманизм. Мы никогда не применяли тех гнусных способов борьбы, какими щедро пользовались наши враги.

Хочу показать величие, благородство, красоту пролетарского гуманизма.

...Речь зашла о редакции рукописи. Для Островского это было очень важно. Ему ведь не раз приходилось возвращаться к своему первому роману и навестывать то, что было упущено редактурой. Что же касается «Рожденных бурей», то он просил поручить эту работу в Гослитиздате самому лучшему редактору. «Я ведь имею на это право».

— Хорошо было бы, — посоветовал я Островскому, — если бы за редактуру «Рожденных бурей» взялся кто-то

из крупных художников. Памятуя, что Горький редактировал произведения молодых писателей, я назвал кандидатуры: Толстой, Бабель, который тепло отозвался о «Как закалялась сталь».

Островский задумался. Толстой и Бабель были, конечно, для него «журавлями в небе». Он упомянул критика Елену Феликсовну Усиевич, которую ценил. Но потом сказал:

— Нужен большой художник, который отнесся бы к редактированию моего романа, как к делу чести¹. Не хочу редакторского штампа. Книга должна оправдать ожидания молодежи.

Наша беседа длилась несколько часов².

В тот день Островский, расставаясь со мной, подарил свою «Как закалялась сталь» (это было 29-е издание, вышедшее в Ростове-на-Дону, с предисловием Г. И. Петровского. На заглавной странице указано: «Печатается по полному тексту рукописи»). Дарственную надпись он продиктовал своему секретарю — А. П. Лазаревой: «Семе Трегубу, имеющему мужество говорить писателям правду. Моему другу». Потом попросил, чтобы книгу поднесли к его руке и дали ему карандаш. В указанном месте он

¹ Островский искренне обрадовался, когда вскоре узнал, что в Гослитиздате «Рожденные бурей» будет редактировать писатель Виктор Кин — автор талантливой повести «По ту сторону». А во время обсуждения рукописи «Рожденные бурей» на президиуме правления СП СССР (15 ноября 1936 г.) Островский сказал: «Да, мне нужен глубоко культурный редактор, чтобы не было таких ошибок, как в книге «Как закалялась сталь»; там в сорока изданиях повторяется «изумрудная слеза».

² Краткая запись ее, сделанная А. П. Лазаревой, вошла в сборник: Н. Островский. «Речи. Статьи. Письма» (М., «Молодая гвардия», 1946), а также в двухтомник произведений Островского (1952) и в его Собрание сочинений (М., «Молодая гвардия», 1967—1968 и М., «Правда», 1969).

подписался. Круглый синий карандаш скользил в его пальцах, и Островский несколько вкривь вывел: «Н. Островский — он же Коля».

Лев Николаевич Берсенева — друг Островского, который находился тогда в его квартире, — сфотографировал нас.

Мы условились, что завтра-послезавтра я приеду с ответственным секретарем «Комсомольской правды» Мироном Перельштейном.

Так оно и было. Мирон дочитал рукопись и согласился, что ее нужно пздать и что «Комсомолке» следует опубликовать отрывки из нее. С тем мы и отправились к Островскому.

Мне долгое время казалось, что то была вторая с ним сочинская встреча, последовавшая сразу же после первой. Но так ли?

Первая беседа, о которой только что шла речь, состоялась 25 сентября. Запись новой беседы, тоже не раз публиковавшаяся, датирована 2 октября. А в письме Островского от 3 октября имеется строка: «Два дня обсуждали пьесу. Был Трегуб». Выходит, что пьесу, о которой будет еще сказано, обсуждали раньше, то есть до того, как мы с Мироном отправились к Островскому. Значит, это была уже третья моя сочинская встреча. И даже не третья, а четвертая! Потому что до того, в том же сентябре, как явствует еще из одной публикации — «Мои мечты», — я снова встречался и беседовал с Островским.

Стоит ли, однако, придерживаться хронологии? Первая беседа посвящена рукописи «Рожденные бурей». Четвертая беседа близка по своему содержанию к первой. Вот почему мы вправе обратиться сейчас именно к ней.

Итак, 2 октября мы встретились втроем: Островский, Перельштейн и я.

Запись того, что говорил во время этой беседы Островский, тоже не раз публиковалась под заголовком «Никогда не успокоюсь на достигнутом». Но она публиковалась как его самостоятельное выступление то ли на встрече с группой членов ЦК ВЛКСМ, то ли с группой членов ЦК ВЛКСМ и работников «Комсомольской правды», то ли просто при встрече с группой работников «Комсомольской правды». В письме Островского от 7 октября 1936 года по этому поводу сказано: «На днях у меня была группа товарищей — членов ЦК ВЛКСМ с заместителем редактора «Комсомольской правды» и Трегубом».

Истины ради должен заметить: «Никогда не успокоюсь на достигнутом» — это то, что говорил Островский Перельштейну и мне. Никакой группы членов ЦК ВЛКСМ с нами не было, как и не было заместителя редактора «Комсомольской правды»¹.

Воспользуюсь текстом записи, сделанной А. П. Лазаревой и своей памятью, чтобы восстановить течение беседы.

Прежде всего я поздоровался с Островским и представил Мирона Перельштейна.

О.: Я готов, друзья, принять от вас самую требовательную и суровую критику. Она необходима мне именно сейчас, до опубликования книги, чтобы я смог внести все необходимые исправления.

Хочу, прежде всего, знать общее впечатление от рукописи. Есть два рода книг. К первому принадлежат такие, в которых есть хорошие увлекательные места, но

¹ Неточность эта исправлена в Собрании сочинений Н. Островского изд-ва «Молодая гвардия», 1967—1968 и изд-ва «Правда», 1969.

сами книги в целом плохи. И есть хорошие книги, имеющие отдельные неудачные слабые места. Итак, каково общее впечатление от моей рукописи?

На этот раз отвечал уже не я, а Перельштейн.

П.: Скажу искренне, что первое впечатление от прочитанного очень хорошее, сильное. Я читал залпом, буквально рвался от строки к строке. Книга захватывает. Я прочел рукопись только один раз и не могу судить о ней обстоятельно, детально. Что запомнилось? Эпизод в котельной (я читал эту главу с огромным увлечением), разговор Андрия с Олесей в ночь восстания, последняя глава — сцена в охотничьем домике... Я за то, чтобы печатать роман в «Комсомольской правде».

О.: Должен сказать, что отзывы о «Рожденных бурей», которые я до сих пор получил, положительные. Это меня несколько успокаивает. Я, откровенно говоря, боялся приезда Семы Трегуба. Вот, думаю, прочел он рукопись, придет и скажет: «Переходи, друг, на другую профессию, ну, хоть рецепты на мыло выдумывай или бухгалтером куда-нибудь иди». Нет, даже он не сказал этого. А он — злой критик. Это облегчает, когда книгу не ругают. Ведь она — результат двух с половиной лет работы. Я чувствую и понимаю, что книга далека от совершенства, и я никогда не успокоюсь на достигнутом. Я — самый злостный и придирчивый из всех моих критиков. Мне надо знать, будет ли книга служить делу коммунистического воспитания молодежи, будет ли волновать сердца читателей и звать их к борьбе, к подвигам? Или ее надо сразу же, не доведя до печати, законсервировать в районе вот этого дома и как можно скорее забыть о ней.

Я получил отзывы от Григория Ивановича¹, от адъю-

¹ Г. И. Петровский — Председатель Центрального Исполнительного Комитета УССР и заместитель Председателя ЦИКа СССР.

танта маршала Ворошилова, от Сергея Андреева¹. Это положительные отзывы, и они меня немного успокаивают.

Я решил собрать общественное мнение и уже потом дать право издательствам публиковать рукопись. Пока она послана только на просмотр. Меня очень интересует мнение «Комсомольской правды», как молодежной газеты. Это моя профессиональная газета, как у железнодорожника или шахтера есть своя. Их интересуют и другие газеты, но своя — прежде всего.

Я: Мое мнение ты уже знаешь. Мнение Мирона, как видишь, не разошлось с ним. Ему запомнилась седьмая глава. Это действительно лучшая глава романа.

О.: Сцена в котельной, как я уже говорил несколько дней назад Семе, возникла после беседы с Лахути. Он рассказал мне об обращении Горького к писателям, о его призыве дать людям сильных характеров, больших страстей, кипучего действия, таких, которые будут волновать читателей.

Мне известны исключительные случаи безумной храбрости наших бойцов в годы гражданской войны. Думая о них, я и написал сцену в котельной.

...Во время отступления Первой Конной отстал один боец. Белополяки заняли территорию. Штаб их расположился в поле. Шло важное совещание. В этот самый момент из ржи вылетает наш отставший конармеец и — прямо на штаб: он бьет из нагана двух генералов, полковника, рубит человек пять штабных офицеров. Эта неожиданность всех буквально парализовала. Пока те пришли в себя — буденновец угробил девять человек и затем бесследно скрылся во ржи. Он появлялся потом еще несколько раз: неожиданно налетал, стрелял, рубил и вихрем уносился. И заметьте — он был в своей форме:

¹ С. А. Андреев — первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины.

в буденовке с алой звездой. Находясь в тылу у врага, он не разоружился, не скрывался. Это человек необычайной, конечно, отваги, легендарный герой. Имя его осталось, к сожалению, неизвестным.

Эпизод этот приведен в книге Рыдз-Смиглы¹, это факт, а не фантазия. Нарисуй писатель такого бойца, читатели не поверят: надуманно, скажут, таких в жизни не бывает.

Но мы знаем, что борьба создает такие положения, которые совершенно невозможны в мирной обстановке и которые превосходят все, казалось бы, возможное.

Второй эпизод, который держится в моей памяти и о котором я вспомнил, беседуя в прошлый раз с Семой, рассказан Пилсудским² в его книге «Двадцатый год». Во время отступления поляков состояние их армии было крайне угнетенное, — их терроризовала красная конница. А наша разведка из семнадцати человек с четырьмя пулеметами вырвалась, в пылу борьбы, вперед на шестьдесят-семьдесят километров и оказалась отрезанной. Ночью эти смельчаки, дико крича и стреляя, налетели на штаб польской дивизии. Они — в красных штанах, в буденовках с алыми звездами (даже летом бойцы Первой Конной не снимали суконных красных брюк и ватных шлемов — в этом было особое щегольство). Поляков охватил дикий страх — можно было подумать, судя по шуму, что напала большая часть. Тем более что Первая Конная чаще всего обрушивалась на врага всей массой. Возникла невероятная паника. И началось беспорядочное отступление: семнадцать человек гнали целую дивизию — четыре тысячи

¹ Рыдз-Смиглы — один из реакционных польских лидеров, активный участник военного нападения белопанской Польши на Советский Союз в 1920 г.

² Пилсудский — фашистский диктатор Польши в 1926—1935 гг. Возглавил нападение белопанской Польши на Советский Союз в 1920 г.

пятьсот человек — и за ночь прогнали ее на шестьдесят километров. Дивизия сдала Ковель, а через четыре дня подоспели наши войска и закрепили победу.

Надо воспитывать в молодежи сознание того, что даже один боец, оказавшийся в самом безвыходном как будто положении, найдя в своем сердце мужество, может принести огромный вред врагу. Надо воспитывать отвагу и решимость биться до последней возможности.

Об этом я и думал, создавая сцену в котельной.

Сотни рабочих выброшены на улицу. Это — беспомощная, испуганная толпа. А Птаха один, запершись в котельной, поднимает весь город и защищается, как львенок, от легионеров. Порывы такой отваги нужны: они доказывают пассивным массам, что нет безвыходных положений, что сопротивление крушит все. Если это удалось показать, то я рад.

П.: Этот эпизод произведет, я уверен, колоссальное впечатление на читателей, в особенности на молодежь. Лихой, отважный Андрий Птаха, нашедший выход из исключительно трудного положения, вызывает желание подражать ему. Я страшно волновался за его судьбу и, казалось, жил с ним, метался вместе с ним по котельной... Это бывает не часто при чтении. Замечательно показано отношение Андрия к Олесе. Это удар по пошлости. И такое отношение тоже вызовет желание подражать. Хорош образ Раевского-старшего.

О.: Мне говорили, что я, мол, не прав, позволяя своим героям в конце первой части романа потерять бдительность: танцевать с врагами и сорвать дело спасения старших товарищей. Но ведь это еще не искушенная, доверчивая молодежь, ее так легко обмануть! Будь здесь Сигизмунд Раевский, это было бы невозможно. Сцена должна учить бдительности, должна навсегда заронить в сердца молодежи ненависть к врагу.

И нас обманывали! Вспомните хотя бы, сколько стоило нам крови то, что мы отпустили генералов Краснова и Корнилова. Некоторые не верят, что графиня пошла танцевать с рабочими. Но она — хитрая полька — и старается все использовать для своего спасения. Я сам знаю случай, когда заключенная в ЧК польская аристократка кокетничала с молодым красноармейцем, старалась влюбить его в себя, чтобы при его помощи бежать. Мы знаем цену благородству аристократов. Их гордость продажна. Они свою честь и герб в придачу продадут за деньги.

Некоторые товарищи беспокоятся: не снижает ли этот эпизод образ и честь комсомольцев? Но эта сцена — следствие гуманизма, доверчивости ребят. Птаха горел жаждой мести, нападая на имение Могельницких. А кого он там убил? «Мы с бабами не воюем», — и он прячет карабин за спину, чтобы не пугать женщин. Аристократы в таком положении перебили бы всех.

.Мы видим, что делается сейчас в Испании. За свою доверчивость и гуманность мои герои жестоко поплатились, и в другой раз они уже не повторят ошибки. Они получили первый урок и выросли на голову как бойцы. Нельзя делать их какими-то кристальными, как некоторым хочется. Надо показать формирование бойцов и комсомольцев.

П.: Если бы кто-то из ребят оказался бдительным и Стефания была настигнута, поймана, то этот эпизод потерял бы важное значение, которое он теперь имеет. Это походило бы на благополучную концовку плохого фильма.

О.: Да, тогда бы моя мысль о том, что враг не знает пощады, не была бы так убедительна. Ребята ведь расплачиваются за свое человеческое отношение к аристократам, за свою рабочую простоту. На этом примере я показываю, что врага надо уничтожать до конца, ни на минуту не

верить его честности. Если бы с молодежью был хоть один старый большевик, они вели бы себя по-другому и с ними не случилось бы того, что случилось.

Я: Кое-кто не склонен принимать и Людвигу.

О.: Еще нападают на Людвигу. Что ответить? В последней главе она на высшем этапе своего беззубого гуманизма. Среди буржуазии есть такие типы. Это одиночки, которые способны видеть правду и понимать всю низость падения своего класса. Они, может быть, искренне страдают от этого. Людвиг не сможет больше жить с мужем, разведется и сбежит от ужасов войны в Англию, где у нее есть деньги. Бороться активно она не может. Она просто не желает видеть кровь, страдания. Такой тип надо ввести в семью Могельницких, чтобы показать эту семью изнутри, а также, чтобы показать, что все лучшее и честное уходит от них.

Надо показать, что буржуазия — гибнущий класс, что раскол, процесс гниения в ее среде идет нам на помощь.

Кроме того, на примере Людвиги показан вред, приносимый гуманистами ее типа. Без нее юноши защищались бы до конца. А она, хоть и невольно, предала их. Это суровый урок для ребят.

П.: Для меня несомненно, что книга будет иметь огромное значение. Внутренние ее скрепы очень прочны. Но чувствуются шероховатости в стиле, есть неровности, снижения. Хоть это и естественное явление, но все это надо устранить. Нужна работа хорошего редактора. Воспитательное и агитационное значение книги будет колоссальное. У нас до сих пор не было таких книг о молодежи.

На том беседа и закончилась. Островский был ею очень доволен.

«Они тепло отзываются о «Рожденных бурей», — писал он, имея в виду эту нашу с ним встречу. — Они ставят перед ЦК ВЛКСМ вопрос о разрешении печатать «Рож-

денные бурей» в «Комсомольской правде». Это навряд ли удастся, так как печатать надо будет 1,5 месяца изо дня в день подвалами, что заберет огромное количество места».

Чтобы завершить воспоминания о том, что непосредственно связано с «Рожденными бурей», я забегу еще несколько вперед. Президиум правления Союза писателей СССР обсуждал рукопись 15 ноября. Островский приехал в Москву 24 октября. А 30 октября в «Комсомольской правде» появилась очередная страница «Литературная жизнь» и там — мой подвал «В гостях у Николая Островского», в котором было рассказано о наших сочинских встречах и о его новом романе «Рожденные бурей». Там же — фотография Островского. Очерк, до опубликования, я читал Островскому на его московской квартире. Он по ходу чтения сделал одну поправку: я было написал, что в его бытность в Берездове у него на широком ремне был браунинг. Он же заметил: «Не браунинг, а наган».

В очерке был дан ответ на те вопросы, которые тревожили Островского.

«Твоя книга будет служить делу коммунистического воспитания молодежи. Она будет волновать сердца читателей и звать их к борьбе, к подвигам. Она зажжет их высоким пламенем твоего благородства и станет их любимой книгой».

Когда я закончил чтение, Островский порывисто привлек меня к себе (моя рука была в его руке) и поцеловал.

— Я хотел бы, чтобы мы навсегда сохранили в себе эту минуту, — сказал он.

Теперь возвратимся в Сочи. Мой отдых в «Маграх» продолжался, и я навестил Островского еще два раза.

Один раз я пришел к нему с Аней Млынек. Девушка

эта окончила в 1935 году среднюю школу и прославилась своей речью на выпускном вечере в Колонном зале Дома Союзов; это был первый выпускной вечер окончивших десятилетку. От имени своих сверстников она поклялась отдать свою жизнь великому делу Ленина, делу социализма. Ее выступление опубликовали во всех центральных газетах и оно вызвало много откликов. Один из старейших коммунистов, генеральный секретарь Профинтерна С. А. Лозовский писал ей, например:

«Милый товарищ Аня!

Прочитал в «Правде» Вашу взволнованную и волнующую прекрасную речь. Для нас, людей старшего поколения, поколения первой революции, особенно радостно слышать такие бурно пламенные выступления советской, кипящей жизнью и творчеством, молодежи.

Семена, посеянные несколько десятилетий тому назад великим основателем нашей партии, дали замечательные всходы...

Я не был на вашем вечере, но я почувствовал в вашей речи биение миллионов сердец нашей молодежи, я почувствовал ее великую любовь к нашей стране, к нашей партии...

Сердечный привет вам, вашим сверстникам и всему вашему солнечному поколению».

Аня Млынек озарена была этой солнечностью.

После окончания средней школы она поступила в ИФЛИ (Институт философии, литературы, истории) и одновременно работала в отделе школ и пионеров «Комсомольской правды». Мы часто встречались в редакции.

Девушка была в восторге от книги Островского. Она писала ему: «Вы, наверное, единственный бригадный комиссар, который не сможет сказать, сколько у него в бригаде бойцов, но Вы, верно, чувствуете сердцем, какая

это огромная бригада — ведь это целая комсомолия, вся молодежь нашей необъятной страны, да и не только нашей страны». И мечтала, конечно, повидаться с «живым Корчагиным».

Аня отдыхала тогда в сочинской «Новой Ривьере». Я разыскал ее и повел к Островскому.

Аня Млынек была созданием юным и пылким. Она ни к чему не относилась равнодушно и обо всем — любимом и ненавистном — говорила взалхлеб. Это-то, должно быть, и пришлось по душе Островскому. Он нежно назвал ее «доченькой». Я было пошутил:

— Если она тебе доченька, то не исключено, что ты скоро станешь дедушкой.

Аня зарделась. Островский же улыбнулся и промолчал. Но когда мы остались одни, он сказал:

— Зря смутил девушку.

Этот день памятен не только и не столько тем, что я познакомил Островского с Аней Млынек, с которой он сдружился, но тем, прежде всего, что Островский поделился со мной самым сокровенным — своими мечтами. До сих пор я думал, что при этом моем разговоре с Островским присутствовала только А. П. Лазарева, которая вела краткую запись¹. Но вот я встретился с Анной Григорьевной Млынек, и она начала кое-что вспоминать из того, что мне говорил тогда Островский. Она, оказывается, тоже при том присутствовала.

...На улице уже темнело. Кровать Островского передвинули с веранды в комнату. Он лежал в постели, напо-

¹ Эта запись была впервые опубликована в упоминавшемся уже сборнике Н. Островского «Речи. Статьи. Письма» (М., «Молодая гвардия», 1964). Она вошла в его Собрание сочинений 1967—1968 и 1969 гг. издания.

миная скорее бойца на привале, нежели тяжелобольного. Незрячие его глаза, казалось, блестели. На стене висела старая буденовка. Чудилось: вот-вот он подымет, лихо вскочит на коня, скамандует: «Шашки наголо!» — и понесется навстречу бою...

Но так лишь чудилось.

Меня долго занимала мысль: откуда в этом немощном теле берутся силы, чтобы так напряженно жить? Он писал: «Плохо то, что здоровье — как папиросная бумага. В 1932 году чуть не погиб от воспаления легких. Врачи вышибли из Москвы на юг, под угрозой, что сдохну без воздуха...» Сколько раз с тех пор он действительно погибал! И не только от воспаления легких. Он болел, как известно, хроническим анкилозирующим артритом, который привел к срастанию большинства суставов. Ослеп. У него был застарелый туберкулез обоих легких. Он страдал от камней в почках. Кроме того, травматический невроз, пиэлит... Смерть постоянно жила рядом с ним. Ее железный обруч сжимал его все туже и туже. А он: «Да здравствует труд и борьба! Пожелаем с тобой, чтобы Коля прорвался из железного круга и стал в ряды наступающего, несмотря на все страдания в прошлом и напряжение в настоящем, пролетариата». А он: «...на удивление всем вылез из индивидуального болота на шоссе... Перешел на десятичасовой рабочий день. Пишу шесть, а четыре читаю».

Островский дарит свою «Как закалялась сталь» врачу и надписывает: «От человека, который никогда не был порядочным больным и не будет».

Однажды он в упор спросил его: «Долго ли мне осталось жить?» Тот песколько растерялся и дал понять, что медицинская этика запрещает отвечать больным на такие вопросы. Островский настаивал: «Я — не больной. Я — раненый боец. От вашего ответа зависит то, как я распоря-

жусь остатком своей жизни. Если мне жить еще год, то я буду работать десять часов в сутки, а если полгода — то в два раза больше. Я должен наверстать упущенное».

Меня интересовало: чем питается его героическая энергия? Какой рубильник ее включает? Наблюдая Островского, я думал: «На людях держать себя как-то легче. Присутствие людей тебя ко многому обязывает. Но вот — все разошлись. Ты один в постели. Вперед — долгая ночь. Все болп, которые держишь как бы в кулаке, вырываются наружу и мстят тебе за то, что ты до сих пор с ними справлялся. В какой гавани можно скрыться от страшных ночных штормов? Откуда берутся силы, чтобы с утра начать новый большой рабочий день?»

И я, поддавшись давнему соблазну, спросил его об этом.

Островский мило улыбнулся и сказал, что я требую от него невозможного, пытаюсь заглянуть в тайное тайных.

— Такие вопросы нельзя задавать. Это значит залезть руками в сердце человека. Ты требуешь самого дорогого, самого большого...

Но вот улыбка сошла с его лица. Оно стало сосредоточенным. Он как бы прислушивался к далекому гулу, который приближался и нарастал, захватывая его.

— Я трачу массу энергии и тоже разряжаюсь, как аккумулятор, — начал Островский. — И вот надо найти источники, которые бы мобилизовали на работу. Могучие источники — мои мечты.

Всех своих мечтаний я не выразил бы и в десяти томах. Мечтаю всегда, с утра до вечера, даже ночью. Это не одна тупая мысль, которая возвращается каждый день из месяца в месяц. Она меняется снова и снова, как восход и закат солнца. Часто начинается со вспышки где-то в уголке мозга, а потом разворачивается в грандиозное и победоносное движение. Эти мечты дают мне так много. Вопросы

личного, любви, женщин занимают мало места в моих мечтах... Для меня нет большего счастья, чем счастье бойца. Все личное не вечно и не способно стать таким огромным, как общественное. Но быть не последним бойцом в борьбе за прекраснейшее счастье человечества — вот почетнейшая задача и цель.

И, увлекаясь, он принялся рассказывать о своих мечтах, таких фантастических и вместе с тем таких земных.

— Моя мечта, самая фантастическая, всегда остается жизненной, земной...

Силой своего воображения он вызывал картины, которые заставляли боли утихнуть и смерть отступить.

Каковы были эти картины?

...В Китае шла народно-освободительная война против японских интервентов.

Прикованный к постели, слепой Островский долгими часами мысленно бродил по Китаю. Он пробирался по желтым лёссовым холмам Гуанси и Шанси, по рисовым полям Сучана, ночевал в лодках, уткнувшись в ил на окраине Шанхая. Он ободрял уставших, вселял веру в сердца отчаявшихся, участвовал в партизанской борьбе, проникал в японские тылы, связывал разрозненные отряды китайских партизан, объединял их в одну действующую армию и вел ее в бой...

Он этим жил!

— И вот проходят часы, а я жадно вникаю в борьбу. Напряженно и радостно работает мысль... Если меня случайно отрывают от моих планов, мне бывает очень больно, и я не могу сразу вернуться к жизни.

...В Испании шла гражданская война. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!» — эти пламенные слова Долорес Ибаррури стали боевым девизом испанских патриотов.

Островский все чаще и чаще мысленно уносился к Средиземноморскому побережью.

— Вчера я проснулся ночью и строил планы, как захватить корабль мятежников. Я был в подпольной организации моряков. Мы разработали план, в котором было предусмотрено все до мельчайших подробностей... Жахнул по офицерью — и корабль наш.

Он представлял себя в роли «могучего оратора», который выступает на самой большой площади осажденного Мадрида. Ему удастся увлечь за собой народ.

— Мы организуем наступление, громим врага, сбрасываем его в море.

Перед ним возникали лица мужчин, женщин, детей Испании, пестрый ливень цветов, которыми народ осыпал своих освободителей, своих героев...

Он этим жил!

Когда Островский сказал, что однажды он представил себе «необыкновенно ярко», как он убивает главаря фашистских мятежников Франко, я вспомнил слова Горького, который несколько месяцев назад, беседуя со мной, сказал, что хотя мы принципиально и противники индивидуального террора, но он, видя будущее, которое несет миру Гитлер, считает нужным его убить.

Мечта делала Островского солдатом всех революций мира¹. Он спешил на помощь труженикам разных стран и наций.

— Если бы взять все миллиарды капиталистов, все силы техники и все то, что лежит у них неподвижным грузом, и отдать рабочим, голодным, изнуренным, доведенным до предела нищеты...

На океанских пароходах перевозил он в Советский Союз безработных американских рабочих и направлял их на работу.

¹ Подтверждение тому мы находим в письме Островского от 30 января 1929 г.: «И я целыми днями один с моими безумно смелыми мечтами о великом всемирном восстании».

Его беспокойная революционная мечта обращалась и к тогдашней Польше. Он не раз вспоминал, конечно, 1920 год, войну с белополяками, пограничный Берездов...

— Стать бы президентом Польши и передать власть рабочим. Польша становится социалистической...

Мечты его были безграничны. Но среди них одна, самая дорогая — мечта об укреплении могущества нашей Родины.

— Множить силы моей страны — вот основное...

Он думал об этом постоянно, и благородная эта цель неистово распаляла его воображение.

— Иногда я мечтаю о миллиардах золота, которым почему-то владею. Может быть, я получил его по наследству. Может быть, я сын Моргана. Но я коммунист и моя задача — переправить золото в СССР. Я строю сложнейшие комбинации и в конце концов привожу это золото к нам...

Лицо Островского сосредоточенно.

— Все мечты в одном направлении. В личном, индивидуальном у меня мало радости.

И тут он говорит с презрением и воодушевлением:

— Случается, что я разговариваю с каким-то слюнтяем, который поет из-за личной неудачи. Ему не для чего жить, говорит он, у него ничего не осталось. И тогда я думаю, что если бы у меня было то, что есть у него: здоровье, возможность двигаться по необъятному миру (редко, когда я позволяю себе мечтать об этом), что было бы?.. Я — молодой, стройный, здоровый парень, одеваюсь и выхожу на балкон... Что было бы? Я не мог бы просто пойти, а побежал бы стремительно и неудержимо. Может быть, побежал бы в Москву рядом с поездом, схватившись за поручни вагона. В Москве прибежал бы на завод, прямо в кочегарку, чтобы скорее открыть топку, вдохнуть запах

угля, швырнуть туда добрую порцию его. О, я жил бы жадно, до безумия. Сколько я бы мог дать, сколько надо было бы выкачать из меня, прежде чем я бы устал! Вырвавшись из девятилетней неподвижности, я был бы беспокойнейшим человеком. Я бы не уходил с работы, пока бы не насытился ею.

Маленькая передышка. Речь заходит о героях и героизме, об обыкновенном и необыкновенном, о теории «герой и толпа». Островский говорит:

— В нашей стране быть героем — святая обязанность. У нас неталантливы только лентяи... А из ничего — ничего не рождается, под лежащий камень вода не течет. Кто не горит, тот коптит — это закон. — Голос его крепнет: — Да здравствует пламя жизни!

В эти минуты перед ним, должно быть, проносились годы и годы.

— Никогда не думайте, что я несчастный человек, грустный парень. Этого никогда не было. До победы — упорные мысли не сдаются, упорнейшая борьба. Я ведь не знал, что так повернется жизнь. Сколько радости приносил мне кружок молодежи, которым я руководил. Я мог говорить три часа подряд, и двадцать человек слушали меня затаив дыхание. «Значит, есть для чего жить, — думал я. — Значит, я нужен». Хорошо, если ты можешь воспитать сотни человек. Не можешь сотни — воспитай хоть пятерых... Это тоже немало! Воспитать пять большевиков — это много.

Эгоист погибнет раньше всех, — углубляет он свою мысль. — Эгоист живет в себе и для себя, и если поковеркано его «я», то ему нечем уже дышать, перед ним ночь обреченности. Но когда человек живет не только для себя, когда он растворяется в общественном, когда он живет единым целым со своим народом, то его невозможно убить...

Островский всячески заостряет и подчеркивает эту мысль, обнажая ее новые и новые грани.

— Личные трагедии будут и при коммунизме, но жизнь будет прекрасна тем, что человек перестанет жить узкой личной жизнью.

Он вспоминает мужественных борцов с фашизмом:

— Они изумительно прекрасны. Это — не герои на час. Личные страдания уходят на задний план. Для них главная трагедия — прекращение борьбы.

Для него узколичная жизнь, то есть мещанская, обывательская, — не жизнь, а существование. На нее он и обрушивается. Он славит другую:

— Для меня каждый день — преодоление огромных страданий. Но вы видите мою улыбку — она искренна, радостна. Я живу огромной радостью побед нашей страны, несмотря на свои страдания. Нет ничего радостнее, как побеждать страдания. Не просто дышать (и это прекрасно!), а бороться и побеждать.

Я погиб частично, но мой отряд процветает. И боец, который, умирая в цепи, слышит победное «ура!» своего отряда, получает последнее и какое-то высшее удовлетворение.

Он вспоминает свой майский переезд из Москвы в Сочи:

— Я приехал усталый, больной. Но я сказал себе: «Смотри, завтра же ты можешь погибнуть. Так скорее вперед!..» И я презираю людей, которых нарыв на пальце выводит из равновесия, заслоняет все, для которых настроение жены важнее революции, которые из-за ревности готовы разнести дом, перебить окна и всю посуду.

Слова не текут, а рвутся из его уст.

Островский иронизирует:

— Есть поэты, которые часами страдают в поисках темы, а найдя ее наконец, не могут писать из-за дурного

настроения. Они дрожат при мысли о возможной простуде, тщательно кутают горло. Не дай бог, если поднялась температура — они хнычут и в панике принимаются сочинять завещание.

Он резко осуждает одного писателя, который здоров как бык, но уже давно только тем и занят, что выступает перед аудиторией с чтением отрывка из своей старой книги. Этим и кормится. Ему «некогда» писать: то спит, то пьет, то волочится за женщинами от семнадцати до семидесяти лет.

— Ему дано здоровье, но не дано пламени сердца.

И новый поворот темы:

— Чего стоит оратор, который зовет к красивой жизни, а сам живет уродливо? Представьте себе вора, прославляющего честность, или дезертира, агитирующего за верность долгу. И среди писателей имеются, к сожалению, люди, у которых слово расходится с делом. Это несовместимо с самим званием писателя.

Пауза. Беседа меняет русло: речь идет о трудностях писательской работы. Островский вспоминает «Неведомый шедевр» и говорит:

— Огромное сопротивление материала. Мысли и образы ускользают. В сердце — пламя, а на бумаге — едва тлеющая искра...

Я спрашиваю: как складывается дальнейшая жизнь героев «Рожденных бурей»? Закончена ведь только первая часть.

Лицо Островского светлеет:

— Я начинаю их любить, моих героев, мою молодежь из «Рожденных бурей» — и тихого сдержанного Раймонда, и бесшабашного, отчаянного Андрия, и славного парня Пшеничека, и Олесю, и красавицу Сарру, эту боевую революционерку. Я люблю их всех. Я думаю о них, и судьба некоторых для меня уже определилась...

Он называет Олесю, Щабеля, Андрия, Пшеничека, Франциску.

— Оlesia готова стать женою Щабеля, мужественного комдива, которого она предпочитает Андрию. Но она скажет: «Буду твоей, только когда кончится война». Щабель же как-то спьяну срывается, и Оlesia не простит ему измены. А тут встреча с Андрием, случайно уцелевшим в боях. Потеряв Олесю, он в отчаянии искал смерти. Теперь они вместе.

Необычна судьба Пшеничека. Он в бою лишается ноги и становится инвалидом. Встает вопрос: «Как и для чего жить?» И вот весной он встречается на мельнице, куда устроился на работу, с Франциской. Она пожалела его и пригрела своей любовью. Но разве она может остаться с ним? Страдала ее женская гордость, когда на нее и на него смотрели с жалостью. И Франциска ушла от него.

Пшеничек просится к партизанам. Те посмеиваются: «Иди гусей пасти. А нам не время с тобой возиться!» Но он все же уговорил их взять к себе кашеваром. (Он ведь по профессии кондитер.) Какие только блюда им не готовил! Но в нем жило сердце бойца. И он не мог, конечно, примириться со своей участью. Он чистил бойцам пулеметы, помогал разбирать и собирать их и так изучил это дело, что мог работать с закрытыми глазами.

...И вот пошла слава о страшном для врагов безногом пулеметчике, который не знает страха, бьет без промаха. Его награждают двумя орденами Красного Знамени. Кончилась война. Пшеничек снова встречается с Франциской. И она теперь возвращается к нему.

Я спрашиваю: почему бы ему не вести дневник? Ну такой, какой вел Фурманов?

Островский одобрительно отзываясь о дневнике Фурманова. «Его черновые записи — большая ценность».

Но сам он, испытывая потребность в своем дневнике, не может его вести.

— Разве можно доверить чужой руке самое интимное своего «я»?¹ В некоторых вещах трудно даже и себе признаться. Правда, если противоречие между тем, о чем ты можешь сказать и что скрываешь, велико, если существует разлад между твоим внутренним миром и тем, что находится на поверхности, то надо задуматься и спросить себя: что же ты за человек, если тебе стыдно даже самому себе признаться кое в чем? Дневник — это честный разговор с самим собой, искренний до конца. Для этого нужно большое мужество. Писать же дневник с оглядкой на печать, на историю — это позерство, пошлость.

И наконец, еще одна сочинская встреча с Островским. Ее следы в письме к жене от 3 октября, строку из которого я уже приводил: «Два дня обсуждали пьесу. Был Трегуб».

О какой пьесе идет речь? Всеволод Эмильевич Мейерхольд решил поставить спектакль «Как закалялась сталь».

¹ Эта же мысль присутствует в письме Островского от 11 августа 1931 г., когда он работал еще над первой частью «Как закалялась сталь». Он писал своему другу: «Невозможно в письме тебе передать все те страдания, с которыми связана моя работа. Никаких черновиков, почти никаких поправок.

Разволнуюсь до края, пока усажу обормота-помощника писать. И вообрази, что за работа, не передать. Страшная дрянь попался мне человечешко. Парень ленивый до бесконечности, целый день пролежит в кровати, но за перо не возьмется. Разве с таким обывателем можно создать художественную ценность? У тебя, говорит, нет сексуальных моментов, нет изюминки, кто такую книгу читать будет?

Разве такому паразиту можно открыть переживания, весь энтузиазм борьбы за перерождение жизни? Нет, нельзя.

Он был увлечен этой идеей, говорил о ней в Москве с Островским.

После их встречи Мейерхольд делился своими впечатлениями с актерами:

— Я имел однодневную беседу с Львом Толстым, много беседовал с Антоном Чеховым, и Николай Островского я ставлю третьим. Такая необычная культура, такое необычное проникновение в правду жизни, такая способность понимать, что такое искусство!¹

Он был буквально очарован Островским. И много ждал от этого спектакля.

Летом 1936 года театр имени Вс. Мейерхольда гастролировал в Минске. Оттуда была отправлена телеграмма Островскому:

«Дорогой друг, мы были глубоко потрясены тем исключительным восхищением, с которым партийный актив Минска принял сообщение о нашей работе над вашим романом. Пользуемся случаем еще раз поблагодарить вас за то творческое впечатление и энтузиазм, который вы влили в наш коллектив своей прекрасной работой, подарившей нам образ замечательного героя Павла Корчагина. С каждым днем у нас и у всего коллектива растет уверенность, что наша работа будет достойна ее автора — любимого нами всеми писателя. С пламенным приветом Всеволод Мейерхольд, Зинаида Райх».

За инсценировку романа взялся В. Е. Рафалович. Островский, как помню, ждал приезда к себе Мейерхольда и Райх. Но они не смогли тогда выбраться. Прибыли только автор инсценировки и артист П. Старковский, который читал текст.

И вот два дня читалась и обсуждалась инсценировка. Островский очень хотел, чтобы родные ему образы ожили

¹ ЦГАЛИ, ф. 998, оп. 1, ед. хр. 373.

в кино и на сцене. «Вы должны помнить,— говорит он драматургу,— что пьеса эта — наше общее дело и победа или поражение будет нашим общим». И его опечалило, что инсценировка не удалась. «Я тревожусь за пьесу. Я не чувствую победы автора... Многое огорчает меня. Рита и Павел не захватывают».

Он всячески хотел помочь автору инсценировки и театру. В инсценировке было пять актов. Островский выступал после прочтения каждого акта. Он спорил с написанным, разрушал отдельные сцены и тут же набрасывал новые. Лицо его было одухотворенно: он творил на виду у всех. Замечания Островского были впервые обнародованы мною в журнале «Смена» (1941, № 3). В более полном виде они представлены во втором томе его собрания сочинений. Остановлюсь на самом важном.

В первом акте мать Тони Тумановой отказалась спрятать у себя от погрома еврейских детей. Островский протестовал:

— Это бросает большую тень на Павла. Никогда этот юноша не переступил бы порога дома Тумановых после такого случая... Семья Тумановых хоть и мещанская, но не реакционная, а, наоборот, либеральная. Тоня — не боец, она не способна уйти в бурю, но она романтична, любит героиню, и она несомненно приняла бы евреев. Иначе невозможно оправдать чувства Павла к ней. Он не способен предать свой класс даже в любви, не способен был бы полюбить, например, Лецинскую...

Островский подробно разобрал всю сцену погрома и нашел, что в ней неверно изображен и сам Корчагин.

— Имея револьвер, он не мог оставаться простым свидетелем убийства Пейсаха. Этого не могло быть! Он сейчас же бросился бы на петлюровца.

А о поведении Пейсаха он заметил:

— Пейсах — рабочий типографии, и он не будет уми-

рать так слезливо. И не будет он в этот момент молиться на коленях богу... Не надо делать его таким «специфически еврейским». Рабочие-евреи, они вовсе не отличаются от русских... Необходимо показать какое-то сопротивление.

Его насторожила сцена с Фросей.

— Нельзя себе представить, чтобы девушка рассказывала шести человекам о своем позоре. Надо продумать это. И надо оправдать самый факт ее поведения: она продалась, чтобы спасти семью от голодной смерти, а не из-за распущенности. Тут не ее вина, а ее беда. Надо дать почувствовать классовый характер и этого преступления капитализма.

В пьесе влюбленный Сережа Брузжак показывал фотографию своей девушки, хвастаясь ею перед товарищами. Может быть, для кого-нибудь другого, ну, скажем, для Чужанина, Развалихина, такое вполне возможно. Но для Сережи? Для этого вдумчивого и мечтательного юноши?

— Нет, Сережа не станет обнажать свои интимные чувства. Другу он покажет карточку, но не всем.

Возражение вызвал и эпизод на паровозе. Немецкие оккупанты, угрожая смертью, мобилизовали паровозную рабочую бригаду и заставили ее вести поезд с карателями. Рабочие, среди которых был Жухрай, убили сопровождавшего их часового и сбежали.

Островский нашел, что в этой сцене снижен образ Жухрая.

— Жухрай не должно быть на паровозе. Без него роль рабочих вырастает. Они сами убивают карателя... Он не скажет им просто: «Бей». Он вдумчив, хорошо знает, как это опасно, и никогда не пошлет рабочих на гибель. Жухрай скажет: «Спроси у своей рабочей совести, и поступай так, как она подскажет» или что-нибудь в таком роде. Сознательность рабочих в том-то и проявилась, что они дей-

ствуют без приказа, без какого бы то ни было нажима со стороны.

Во втором акте Островский забраковал «сцену нежности»: Сережа Брузжак и Рита Устинович.

— Тут нужен такт, нужна постепенность... Рита ведь впервые появляется на сцене. Что о ней подумает зритель?

Он набрасывал свой вариант эпизода «Даешь Шепетовку!» в третьем акте.

— Жухрай обеспокоен: полк давно уже должен был тронуться, а он на месте. «Что случилось?» — обращается он к Чужапину. Тот молча отправляет его к бойцам. Дать отдельные реплики: «Без ботинок не пойдем, дураков нет!», «Видишь, штаны с вентиляцией?..» Среди них и какой-то анархистствующий клешник, который выдает себя за матроса-балтийца. Балтфлот был революционер, а этот даже не помнит названия крейсера, на котором служил. Ему и противопоставить Жухрая. Пусть он найдет несколько метких слов, которые разоблачили бы клешника как труса. Жухрай может даже сорвать ленточку с его бескозырки. Бойцы отвернутся от клешника — они не терпят трусов.

Он забраковал в этом акте и сцены: «За Первую Конную» и «Начало трагедии».

В первой — тяжело раненный Корчагин вел себя так, что в него трудно было поверить. Островский требовал «упростить» его, сделать сцену более правдивой.

Павел в полубреду говорит (но это не должно звучать фальшиво): «Артем, братишка, слушай, вот комсомольский билет — возьми. Пойди заплати долг в комсомол за два месяца. Вот деньги — рубль семьдесят копеек. Скажи, такое дело — бои были, не мог внести... А матери скажи — пустяки, я ничего — поправлюсь».

Во второй сцене врач говорил Корчагину, что, будь он

на месте Корчагина, застрелился бы. Павел же в этой сцене держался зауярым бодрячком.

— Нельзя делать врача таким тупицей, — замечает Островский. — Строже следить за языком Корчагина: это язык не рабочего подростка. Не сдвигайте двадцатый год с двадцати девятым. За это время Павел культурно вырос. Нехорош текст, он какой-то бодряческий, плоский... Сила — не в напыщенном слове. Не нравится мне Рита. Она должна быть теплее, человечнее.

Он предложил продумать конец третьего акта.

— Лазарет — тяжелая для сцены штука. Не лучше ли Павла посадить в кресло? Или даже — пусть ходит, поддерживаемый медсестрой... Можно перенести действие на веранду, где солнце, зелень, жизнь... И это еще резче подчеркнет трагедию Павла...

Чем дальше, тем больше нарастало в Островском чувство неудовлетворенности инсценировкой.

— Пока пьеса меня не взволновала, не дошла до сердца, — сказал он, прослушав четвертый акт. — Пьеса названа «Павел Корчагин», а он в ней — почти второстепенная роль. И почти незаметна Рита... Она не дорога и не близка зрителю... Она и Павел мало выросли... Нет развернутых лирических сцен. Не обоснован уход Риты от Сережи и ее приход к Павлу... Официант Прохощка оказывается на стройке в Боярке. Токарева заменили Долинником. Такое ничем не оправданное смещение персонажей будет раздражать зрителей, которые знают книгу.

И наконец, заключительный, пятый акт. В нем — продолжение трагедии Корчагина. И вместе с тем торжество его мужества.

Как это показать? Островский подсказывает:

— Показать на игре в шахматы, как Павел воспринимает удары жизни. Это ожесточенное мужество. Да, да, ожесточенное мужество! Это — как в боксе: он падает, но

моментально поднимается и снова и снова бросается на противника. И Корчагин не мрачен. Он страдает, но улыбается. Это настоящий рабочий парень, боец. Зритель должен почувствовать трагедию без лишних слов о трагизме. Павел может сказать Долиннику: «Видал, Иван Семенович, таких чудачков — нашли у меня сто процентов потери трудоспособности». Здесь удивление и укор: «Большевика, у которого стучит сердце, они считают на сто процентов нетрудоспособным. Когда же люди научатся понимать простые вещи?!»

Островский предложил закончить пьесу так: Корчагин уже не ходит. Его вывозят на коляске. На вопрос: «Что будешь делать?» — он не может ответить: «Нечем жить». Он скажет: «Ворошилов и Буденный семнадцать раз вели в атаку и победили. А что было бы, если бы они отказались после первой же неудачи?» Рита спросит: «Неужели будешь еще раз начинать?» (Она имеет в виду его возможное поражение с книгой.) Корчагин ответит: «Да, семнадцать раз, и ни разу меньше, а после, может быть, подумаю о другой профессии».

И он продиктовал начало завершающего корчагинского монолога:

— Рита, подними за меня бокал! Друзья, самое дорогое, что есть у человека, — это жизнь...

— В этом — лейтмотив романа, — подчеркнул Островский. — Корчагин физически разгромлен, но он победитель, он опять в передовых рядах бойцов.

— Я тревожусь за пьесу, — заключил он. — Я не чувствую победы автора. Только несколько сцен взволновали меня, но я не потрясен¹.

¹ В Собрании сочинений 1955—1956 и 1967—1968 гг. издания, в которых представлены эти замечания Н. Островского, ошибочно напечатано: «...но я потрясен».

Так Островский после работы над пьесой «Как закалялась сталь» снова возвратился к героям своей книги.

Читатель, естественно, хочет знать: что же произошло дальше с пьесой «Павел Корчагин», которой Островский уделил столько внимания?

— Передайте коллективу, что я горячо желаю ему победы, — говорил он, расставаясь с автором инсценировки и артистом П. Старковским. — Сделайте все для этого. Прислушайтесь к актерам, может быть, во время игры само собой вырвется какое-нибудь слово, которое зазвучит прекрасно. Вы должны внести его в текст.

Но недостатки пьесы были так велики, что театр обратился к другому автору — Евг. Габриловичу.

Я встречался со Всеволодом Эмильевичем в ту пору и знаю, как он был увлечен своим замыслом¹. Имелась в виду не обычная инсценировка романа.

— Островский не рассматривает нас как неких закройщиков, которые с ножницами в руках будут кроить его роман, вырезывая из него отдельные эпизоды и делая таким путем своеобразный монтаж, — говорил Мейерхольд. — Важно сохранить дух Корчагина. Пьесу мы трактуем как поэму о мужестве и стойкости нашей молодежи.

Мейерхольд много ждал от этого спектакля. Когда Островского не было уже в живых, он, стоя у гроба и тяжело переживая его кончину, поклялся осуществить задуманное.

Новая пьеса называлась «Одна жизнь». Театр готовил ее к двадцатилетию Октября. Корчагина играл Е. Самой-

¹ В Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ) хранится архив В. Э. Мейерхольда. Там имеются записи того, что говорил В. Э. на репетиции «Одной жизни» 15 октября 1937 г. В. Э. дважды сослался тогда на одну из наших бесед (ф. 998, оп. 1, ед. хр. 525).

лов, Жухрая — Н. Боголюбов, Артема — Г. Мичурин, немецкого лейтенанта — С. Мартинсон¹.

...Но спектакль так и не увидел света. 8 января 1938 года было опубликовано постановление Комитета по делам искусств: пьеса Евг. Габриловича была осуждена, а театр имени Вс. Мейерхольда закрыт.

В последних числах октября Островский находился уже в Москве. 15 ноября у него собрался президиум правления Союза писателей СССР: обсуждали рукопись «Рожденные бурей». Я присутствовал на этом заседании, но не выступал, так как высказал уже свое мнение лично Островскому и в том самом очерке от 30 октября, о котором упоминал. От «Комсомольской правды», кроме меня, присутствовал на этом заседании мой заместитель по отделу литературы и искусства И. Бачелис. Он и выступал.

Прежде чем поделиться своими впечатлениями об обсуждении «Рожденных бурей», я, придерживаясь на сей раз хронологии, хочу остановиться на встрече с Островским, происшедшей за неделю до того.

7 ноября, в день девятнадцатой годовщины Октября, Островский пригласил меня к себе вместе с женой. Мы сидели вечером у его постели и беседовали на разные темы: о делах мировых и делах семейных, о том, как продвигается редакция «Рожденных бурей»... Шутили. В соседней комнате собрался народ. Вошла сестра Островского и пригласила нас к столу. Островский попросил и себе вина. Он провозгласил тост в честь праздника и чуть-чуть пригубил бокал. Моя жена ушла вместе с Ека-

¹ О работе В. Э. Мейерхольда над спектаклем «Одна жизнь» рассказано Л. Снежницким в его воспоминаниях «Последний год» (сб. «Встречи с Мейерхольдом». М., ВТО, 1967) и в других воспоминаниях актеров, опубликованных в журнале «Театр» (1967, № 4).

териной Алексеевной, а я задержался: не хотелось оставлять Островского одного.

Он взял мою руку в свою. Мы долго молчали. Из соседней комнаты доносился веселый шум. И тогда-то Островский вдруг заговорил о своей скорой смерти.

— Если тебе позвонят и передадут, что я умер,— сказал он медленно и грустно,— не верь до тех пор, пока сам не придешь и не увидишь. А если придешь и увидишь, что я мертв, не пиши, как обычно пишут в некрологах: «Он мог бы еще жить!» Знай: если бы хоть одна клетка моего организма могла бы жить, могла бы сопротивляться, я бы жил, я бы сопротивлялся... Я уйду абсолютно разгромленным... Я покажу ей, «старой ведьме», как умирают большевики.

Я не утешал его: он в том не нуждался. Я восхищался им: он все еще жил, все еще сопротивлялся.

Заседание президиума проходило не в комнате Островского, а в большой светлой столовой, где обычно принимали гостей. Его кровать поставили у левой стены. Каждый, кто приходил, здоровался с ним за руку. Здесь были люди, которых он уже знал, и те, с которыми он впервые знакомился.

Собравшиеся расположились на стульях и на диване, так что всем был виден Островский. За маленьким столиком сидели А. Серафимович, А. Фадеев, В. Ставский, секретари ЦК ВЛКСМ Е. Файнберг и Д. Лукьянов. Открыл заседание Е. Файнберг. Первым выступил Островский.

— Прошу вас по-большевистски, может быть, очень сурово и неласково, показать все недостатки и упущения, которые я сделал в своей работе, — настойчиво произнес он. — Есть целый ряд обстоятельств, которые требуют от

меня особого упорства в моих призывах критиковать сурово. Товарищи знают мою жизнь и все особенности ее. И я боюсь, что это может послужить препятствием для жесткой критики. Этого не должно быть. Каждый из вас знает, как трудно производить капитальный ремонт своей книги. Но если это необходимо — нужно работать.

Не раз с тех пор, встречаясь с вполне здоровыми товарищами — писателями и сталкиваясь с их весьма болезненным отношением к критике, с самомнением, амбицией, я вспоминал, как вел себя Островский на этом заседании. Он говорил:

— Традиции нашей партии и комсомола дают непревзойденные примеры творческой дружбы. Они говорят о том, что дружба — это прежде всего искренность, это критика ошибок товарища. Друзья должны первыми дать жесткую критику для того, чтобы товарищ мог исправить свои ошибки, иначе его неизбежно поправит читатель, который не желает читать недоброкачественных книг.

Островский требовал, да-да, требовал, чтобы открыли «артиллерийский огонь» по его рукописи.

— Принципиальная критика помогает писателю расти. И только самовлюбленные, ограниченные люди не выносят ее. Я прошу отнестись ко мне, как к бойцу, который хочет и может исправить недочеты своей работы. Критика меня не дезорганизует. Наоборот, она скажет мне о том, что я нахожусь в кругу друзей, которые помогут мне вытянуть тяжесть. Я никогда не забываю, что я еще не так силен в художественном мастерстве, что мне еще есть чему поучиться.

Это его слово и определило характер обсуждения. Выступали А. Серафимович, А. Фадеев, В. Ставский, В. Герасимова, И. Феденев, Н. Асеев, И. Бачелис, М. Колосов. «Артиллерийскому обстрелу» подверглись языковые огрехи романа, некоторые его сцены и образы, трактовка от-

дельных исторических фактов. Общее же мнение свелось к тому, что автор одержал новую победу.

Я следил за лицом Островского. Он живо реагировал на каждую речь. Порой он откликался короткими репликами. Когда, например, В. Герасимова анализировала образ Андрия Птахи и заметила, что он, а не Раймонд Раевский, как ей кажется, является основным героем произведения, Островский горячо поддержал ее:

— Он и есть основной герой... Это основная фигура.

Островский, конечно, радовался тому, что его новая работа «не получила разгрома». Он упомянул об этом в своем заключительном слове. Именно упомянул. Весь же пафос того, что он говорил, был истинно критическим. Случись, что его рукопись разгромили бы, он принял бы и этот удар так, как подобает настоящему бойцу...

— Если бы сегодня было доказано ясно и понятно (а я чуткий парень, и не надо меня долго убеждать в истине), если бы было признано, что книга не удалась, то результатом этого могло бы быть одно: утром завтра я с яростью начал бы заново работу. Это — не фраза, не красивый жест. Жизнь без борьбы для меня не существует. На кой черт она мне сдалась, если жить только для того, чтобы существовать?! Жизнь — это борьба!

Он рассчитал, что для подготовки книги к печати потребуется три месяца работы. Это если трудиться в одну смену. Но можно ускорить процесс — работать в три смены. Тогда уложишься в месяц. И Островский пообещал ровно через месяц завершить работу.

— Кстати, у меня бессонница, и это найдет свое полезное применение, — шутил он.

Вряд ли нужно доказывать, что Островский в силу своей болезни больше, чем кто другой из писателей, нуждался в квалифицированном редакторе. Я беседовал об этом с ним в Сочи. И он здесь сам говорил об этом: «Да,

мне нужен глубоко культурный редактор...» Но заслуживает внимание то, что, беспокоясь об этом, он сделал упор на другом: «Выправлять книгу писатель должен собственной рукой. Продумывать неудачные фразы должен сам автор».

Островский решительно выступил против того, что можно назвать «литературным иждивенчеством». Он вспомнил своих юных друзей — знатных девушек Украины — Марию Демченко, Марину Гнатенко, Ганну Швидко, которые собрали по пятьсот центнеров сахарной свеклы с гектара.

— Я вас уверяю, — сказал он, — что если бы вы пришли к «пятисотницам» во время уборки урожая и предложили: «Давай я тебе помогу и за тебя буду копать», они бы вас не пустили. Они бы ответили: «Закончим, но своими руками».

Заключил заседание секретарь ЦК ВЛКСМ Е. Файнберг, который признал, что оно было поучительным.

— Теперь ясно, что книга получила одобрение, и для нас, в частности для Центрального Комитета комсомола, это очень важно...

Он же говорил о необходимости тщательной редакции книги.

— Чем лучше будет книга отредактирована, тем она будет сильнее.

В этой связи он вспомнил, как с товарищами Косаревым и Бубекиным был у Алексея Максимовича Горького незадолго до его смерти и тот интересовался работой редакторов.

— Спросил нас, кто редакторы, как редактируют. Он говорил, как велика роль редакторов в жизни писателя.

Е. Файнберг высказал свое мнение о романе «Рожденные бурей».

— Я думаю, — сказал он, — что этот роман имеет для литературной биографии Островского большее значение, чем «Как закалялась сталь». — И пояснил свою мысль: — «Как закалялась сталь» — начало литературной деятельности Островского. Но известно, что вторая работа дается писателю с большим трудом. Она должна показать: случаен или неслучаен его первый успех. Желательно, чтобы Островский и дальше работал над собой, учился, учитывал критические замечания, которые были и будут...

И он от души пожелал ему нового творческого подъема.

...Рукопись обсуждали 15 ноября. Островский сдержал свое слово: он закончил работу 14 декабря, за день до назначенного им срока. «Весь этот месяц я работал по три смены, — писал он в последнем письме матери. — В этот период я замучил до крайности всех моих секретарей, лишил их выходных дней, заставлял их работать с утра до глубокой ночи. Но зато книга закончена и через три недели выйдет из печати...»

Он не дожил до того дня...

В тот самый час, когда Островский редактировал конец своей книги, сцену в охотничьем домике, осажденном legionерами из эскадрона Зарембы, в тот самый час, когда он возвращался к словам: «Смерть ходила где-то близко вокруг дома, пытаюсь найти щель, чтобы войти сюда...» — смерть, которая так долго осаждала его крепость, отыскала щель и проникла в нее.

Двенадцатого декабря, когда Островский заканчивал редактуру своей книги, «Комсомольская правда» напечатала новый отрывок из нее — «Раймонд Раевский». А двадцатого декабря, за два дня до смерти, он позвонил мне по телефону и спросил:

— Держится ли Мадрид?

Франкистские мятежники, поддерживаемые войсками Гитлера и Муссолини, а также марокканскими наемника-

ми, находились уже в пятнадцати километрах от испанской столицы. Газеты пестрели заголовками: «Интервенты шлют подкрепления», «Подготовка нового штурма Мадрида». В тот день было напечатано сообщение ТАСС: крейсер испанских фашистов поджег и потопил наш теплоход «Комсомол», который направлялся с грузом чиатурской марганцевой руды в бельгийский порт Гент. Островский знал это.

Он ждал ответа. Ко мне через телефонную трубку доносилось его прерывистое дыхание.

— Мадрид держится,— сказал я.

— Молодцы, ребята! — произнес он глухо. И я почувствовал, как он светло улыбнулся.— Значит, и мне нужно держаться.— И с грустью добавил: — А меня, кажется, уже громят...

Смерть и фашизм были для него синонимами.

В его словах была боль бойца, который понял, что выбывает из строя.

— Я в таком большом долгу перед молодежью,— говорил он, угасая.— Жить хочется... Жить нужно...

Он дрался до последнего.

Двадцать второго декабря вечером мне позвонили из его квартиры. Я услышал плачущий женский голос: «Только что умер Коля». Я давно был подготовлен к этому, но сейчас не мог поверить и помчался к нему. На лестнице встретил уходящих врачей.

В день его похорон вышли «Рожденные бурей». В день его похорон в «Комсомольской правде» появилось обращение: вместо потопленного теплохода «Комсомол» построим боевой корабль «Николай Островский». Начался сбор средств.

Провожая Островского в последний путь, я не писал: «Он мог бы еще жить». Я писал: «Он сгорел дотла и только потому умер».

Идут годы. И мы все больше и больше убеждаемся в том, что смерть не властна над такими, как он. Ему не страшно было умереть. Страшно было не жить. Но он жил и жив!

«Самое прекрасное для человека, — говорил Островский, — всем созданным тобой служить людям и тогда, когда ты перестанешь существовать».

Его жизнь и его творчество обеспечили ему этот завидный удел.

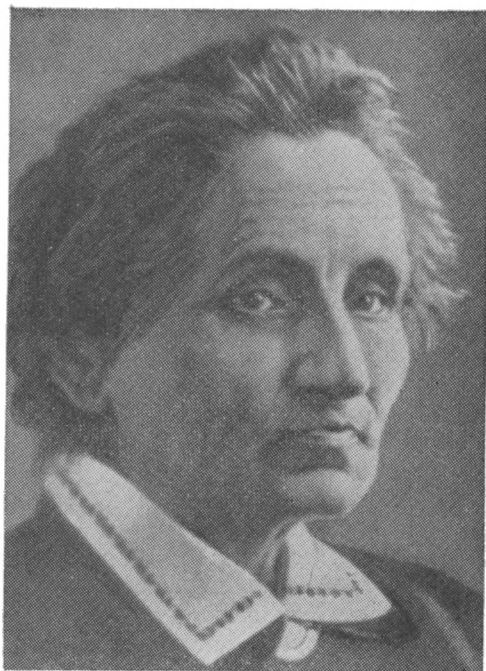
Островский наглядно и убедительно показал, как можно жизнь, насыщенную тяжелыми, трагическими событиями, сделать полезной и даже счастливой. И он стал для мира возвышающим примером победы духа над телом. Его жизнь, его творчество — не сумма отдельных раздробленных и качественно различных величин. Она — монолит, в котором личное неотделимо от общественного и общественное неотделимо от личного.

Он был тем цельным, гармоничным человеком, которого имел в виду знаменитый французский философ периода Возрождения Мишель Монтень:

«Судить о некоторых людях очень легко... тут тронь одну клавишу — и уже знаешь весь инструмент; тут гармония согласованных звуков, которая никогда не изменяет себе».

Именно таким и был Николай Островский. Он слил свою жизнь с жизнью своего народа, с борьбой рабочих людей всего света. В этом было его счастье. И в этом, несомненно, его бессмертие.

1963—1973 гг.



БЕССМЕННАЯ УДАРНИЦА И ВЕРНЫЙ ЧАСОВОЙ

Через всю жизнь человек проносит родной образ матери, наделяя его всем лучшим, что открылось ему в мире: красотой, добротой, нежностью, преданностью... С детских лет в нас живут хрестоматийные строки:

...Увы! Утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будет!

Средь лицемерных наших дел,
И всякой пошлости, и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!..

На первом экземпляре первой части «Как закалялась сталь», которую Николай Островский преподнес матери, он написал: «Ольге Осиповне Островской, моей матери, бессменной ударнице и верному моему часовому».

Бессменной... верному... Слова эти становятся в ряд с теми, которые приведены выше: одни... святые... искренние...

Встречаясь с Островским в Москве и в Сочи, я не раз наблюдал его мать.

Была она маленькой, сухонькой, подвижной, со смутным лицом, густо сплетенным морщинами. Долгий и тяжелый труд рано подорвал ее здоровье. (Следует иметь в виду и то, что она вышла замуж, когда ей было только двадцать лет, и родила шестерых детей.)

Запомнились ее живые черные глаза, то грустные и строгие, то с искорками смеха, ее натуральный говор, сохранивший певучесть родной украинской речи, да и сама речь, пересыпанная меткими и сочными украинскими словами, поговорками. Была она общительной, веселой, гостеприимной. И превращалась вся в слух, когда заговаривал сын, которому она была всей душой предана.

Я видел ее в дни похорон Островского и позже. Мы переписывались.

Но личные встречи и впечатления — это только один из трех источников, помогающих воссоздать образ того, кого Островский называл своим неизменным спутником, бессменной ударницей и верным своим часовым. Два других существуют помимо меня: это прежде всего книга «Как закалялась сталь», в которой мы знакомимся с ма-

терью Павла Корчагина — Марией Яковлевной, и, конечно же, письма Островского к матери и те, в которых о ней упоминается.

К трем этим источникам и обратимся.

Марией Яковлевной звали любимую учительницу Островского в Шепетовке. Ее имя он и дал матери Павла Корчагина. Уже на второй странице романа Павка, которого выгнали из школы, тревожится, как ему явиться домой и что сказать матери, «такой заботливой, работающей с утра до ночи кухаркой у акцизного инспектора».

Ей, матери Павла, уделено затем немного места в романе. Но она, что примечательно, появляется в весьма важные периоды жизни ее сына.

Мать приводит, например, двенадцатилетнего Павку заниматься на работу в станционный буфет.

Она ухаживает за сыном, когда он заболел тифом и, перевалив четвертый раз смертный рубеж, возвращается к жизни. И она, скрывая слезы, провожает его затем из Шепетовки в Киев.

Когда Корчагина разбил паралич, Мария Яковлевна, бросив все, приехала к нему в Сочи.

А в самом конце романа она с тревогой наблюдает за мучительным процессом творчества, которым поглощен Корчагин, и она, именно она, относит его законченную наконец-то рукопись на почту, отправляет ее в Ленинград, в издательство.

Об отношении же Корчагина к матери можно судить по следующей выдержке из третьей главы первой части книги:

«С отсутствием Артема в семье Корчагина стало тужо: заработка Павла не хватало.

Мария Яковлевна решила поговорить с сыном: не следует ли ей опять приниматься за работу, кстати Лещинским нужна была кухарка. Но Павел запротестовал:

— Нет, мама, я найду себе еще добавочную работу. На лесопилке нужны раскладчики досок. Полдня буду там работать, и этого нам хватит с тобой, а ты уж не ходи на работу, а то Артем сердиться будет на меня, скажет: не мог обойтись без того, чтобы мать на работу послать.

Мать доказывала необходимость ее работы, но Павел заупрямился, и она согласилась».

Таков первый источник нашего косвенного познания матери Островского. Он, как я уже заметил, небогат. Но главное в нем определено. И по мере нашего знакомства с другими источниками это главное будет подтверждаться, расширяться и углубляться.

Тяжкие испытания, выпавшие на долю Н. Островского, не обошли стороной его мать: они стали испытаниями и для нее.

«Иду по нисходящей вниз», — пишет он 30 декабря 1926 года из Новороссийска. И здесь же упоминает, что уже два месяца с ним живет мать. Она собирается на время покинуть его. «Останусь один. Как-то сиротливо».

Летом следующего 1927 года больного Островского везут из Новороссийска на курорт «Горячий ключ». Шесть часов на машине, по глухой проселочной ухабистой дороге. Трясло невероятно. Он лежал на раскладушке и девять раз (!) терял сознание. «Меня нельзя было тронуть рукой, а тут такая дикая нечеловеческая поездка».

В этой поездке с ним тоже была мать; он чувствовал ее спасительные руки. Она ухаживала за сыном и в «Горячем ключе».

Спустя год — Островский в Сочи. И снова: «...ко мне приехала мать».

Она помогает сыну всем возможным: умывает его и причесывает, кормит и поит...

В Мацесте лечится его друг — старый большевик Хрисанф Павлович Черпокозов. Островский получает от него

письмо и в ответ направляет к нему в Мацесту маму; она его доверенное лицо.

Мать была в курсе всех его дел и дум, радостей и огорчений, встреч и разлук, всех дружб... В его письмах то и дело мелькает: «мама», «мамочка», «матушка», «моя старушка».

«За меня пишет моя мама», — находим мы в его письме от 2 февраля 1929 года. Значит, его малограмотной матери приходилось и писать под его диктовку! А в письме от 26 апреля 1935 года: «Мое информбюро — Катя и мама...» (Екатерина Алексеевна — старшая сестра Островского).

Но не будем забегать вперед.

В 1931 году Островский, живя в Москве, в Мертвом переулке, работал над первой частью «Как закалялась сталь». Часто приходилось писать ночью, когда все спали. И тогда мать клала ему с вечера под руку транспарант с вложенными в него пронумерованными листами бумаги, а по утрам подбирала и складывала эти, сброшенные им на пол, исписанные листы.

А когда он летом 1932 года, закончив первую часть книги, отправился в Сочи, в санаторий «Красная Москва», мать снова сопровождала его. Она продолжала нести свою трудную материнскую вахту, когда Островский находился в санатории (ей разрешили ухаживать за сыном), и позже, когда он покинул санаторий и они вдвоем поселились на Приморской, 18 и затем на Ореховой, 29.

Жили они тогда в нужде, и Ольга Осиповна стирала белье отдыхающим, чтобы лучше кормить сына.

Она делала все возможное и невозможное, чтобы Островский мог работать. Это в особенности относится к 1932—1933 годам, когда он, находясь с матерью в Сочи, писал вторую часть «Как закалялась сталь».

— Заботы матери не раз спасали меня, — говорил Островский.

И он, со своей стороны, неизменно заботился о ней. О том тоже убедительно свидетельствуют его письма. В них не раз повторяется: «Моя старушка серьезно больна сердцем». «Мать едва двигается, сердце одолело». «...Делаю все, чтобы направить ее в санаторий».

Впервые ей удалось отдохнуть лишь в 1935 году. Островский с радостью писал:

«Мамочка уже с 20-го в санатории «Политкаторжан», отдыхает,— отдельная комнатка».

В таком сыновьем отношении к матери нет, разумеется, ничего не обычного. Но вот новые примечательные строки, характеризующие Островского.

В 1929 году он с гордостью пишет: «...мама уже стала делегаткой женотдела парткома...»

В 1930-м: «Наша мама должна быть коммунисткой».

Тогда же Островский обращается с письмом к своему харьковскому другу Р. Б. Ляхович, в котором делится пережитым. Оно начинается словами: «Хотя нет сил, но берусь за карандаш». Островский перенес тяжелую операцию и чувствовал себя крайне плохо. «Восемь жутких месяцев»,— назвал он время, проведенное до того в клинике. И в том же письме, которое Островский писал самостоятельно, от руки, с помощью транспаранта, в письме, которое так много говорит о его авторе, что просто грешно его не процитировать, Островский, мечтая об отъезде в Сочи, о покое и о крайне необходимом родном окружении, пишет: «Что значит родное?» Он выделяет слово «родное» и среди нескольких наиболее близких ему людей называет прежде всего мать. «Это значит — мать...»

Теперь приведу выдержку из письма к Р. Б. Ляхович, датированного 30 апреля 1930 года. Судя по нему, Р. Б. Ляхович поделилась с Островским своим желанием вступить в партию. Он отвечает:

«...В отношении КП(б)У — об этом я еще буду гово-

рить с тобой. А как совет тебе вообще, на это стремление отвечаю глубоко утвердительно. Истина для меня, что раз не большевик, значит — весь человек не боец передовых цепей наступающего пролетариата, а тыловой работник. Это не отношу только к фронтовикам 1917—1920. Ясно? Нет 100%-ного строителя новой жизни без партбилета железной большевистской партии Ленина, без этого жизнь тускла. Как можно жить вне партии в такой великий, невиданный период? Пусть поздно, пусть после боев, но бои еще будут. В чем же радость жизни вне ВКП(б)? Ни семья, ни любовь — ничто не дает сознания наполненной жизни. Семья — это несколько человек, любовь — это один человек, а партия — это 1 600 000. Жить только для семьи — это животный эгоизм, жить для одного человека — низость, жить только для себя — позор. Двигай, Роза, и хоть, может, будут бить иногда и больно ударять будут, держи штурвал в ВКП(б). Заполнится твоя жизнь, будет цель, будет для чего жить. Но это трудно, запомни, для этого надо много работать. Точка».

Здесь поставлена та самая булатная точка «фабрикации Островского», о которой он некогда писал А. П. Давыдовой.

Вернемся, однако, к теме нашего очерка.

1 октября 1935 года Островского наградили орденом Ленина, и 23 октября он с помощью радио выступает на собрании сочинского партийного актива. В этой его речи имеется место, связанное с матерью. Я имею в виду его ответ на вопрос, как он стал писателем. Вначале Островский смутился и сказал, что не знает. Но тут же вспомнил любопытный эпизод из своего детства.

Мальчику было двенадцать лет. Он работал на кухне стационарного буфета и как-то принес домой книгу, в которой был выведен самодур-граф, издававшийся над лакеем.

«Читаю я про все эти штучки своей старушке матери,

и стало мне неважно, — говорил он. — И вот, когда граф ударил лакея по носу так, что тот уронил на пол поднос, — вместо того, чтобы лакею униженно улыбнуться и уйти, как было у автора, я, полный бешенства, начал крыть по-своему».

В чем состояло это «по-своему»? А вот в чем:

«Тогда лакей обернулся до этого графа да как двинет его по сопатке! И то не раз, а два, так что у графа аж в очах засветило...»

Мать, естественно, усомнилась в истинности того, что читает ее сын. «Погодь, погодь! — остановила она его. — Да где же это видано, чтобы графьев по морде били?!»

Мальчик вскипел: «Так ему и надо, подлюге проклятому! Пуцай не бьет рабочего человека!»

Это, разумеется, тоже не убедило мать: «Да где ж это видано? — повторила она. — Не поверю. Дай сюда книжку! Нет там этого».

И тогда мальчик швырнул книжку на пол и закричал: «А если и нет, то зря! Я б ему, негодяю, все ребра переломал бы!»

Рассказав этот примечательный эпизод, Островский улыбнулся и шутя заключил:

— Может быть, это и было началом моей писательской карьеры...

Мать, как видим, стимулировала такое начало.

Островский рано отбился, как говорится, от материнских рук и стал самостоятельным. В те годы люди быстро взрослели. Но куда бы ни бросала его жизнь, он помнил о матери и всегда считал себя в неоплатном перед ней долгу. Он говорил, уже обобщая: «Есть прекраснейшее существо, у которого мы всегда в долгу, — это мать».

Островский многим был обязан своей матери и рад был малейшей возможности сделать ей что-нибудь приятное.

Обозревая письма последнего, 1936 года его жизни, мы

находим несколько, целиком адресованных матери. Он жил тогда в Москве, а она в Сочи.

«Милая, голубка, матушка!», «Крепко обнимаю тебя, моя славная труженица».

Слово «труженица» в устах Островского звучало и предельно нежно, и предельно уважительно, похвально.

Он и в этих письмах тревожится о ее здоровье: «Я прошу тебя, моя родная, очень прошу и даже требую, чтобы ты не несла никакой тяжелой работы. Повторяю — никакой тяжелой работы. Я знаю, что никогда нас не слушаешь в этих делах, ты всегда делаешь по-своему, т. е. продолжаешь с утра до вечера изнурительную, неблагодарную домашнюю работу. Теперь, когда твое здоровье окончательно разрушилось, — так продолжать нельзя».

И, что хочется особо подчеркнуть, матери адресовано последнее письмо Островского, продиктованное им 14 декабря 1936 года, за восемь дней до смерти. Островский сообщал ей об окончании работы над первой частью романа «Рожденные бурей», о предательстве Андре йЖида, о том, как он готовится провести предстоящий месяц отдыха.

И тут же весьма важное признание: «Работать буду немного, если, конечно, потерплю. Характер-то ведь у нас с тобой, мама, одинаков».

Общность характеров. Это сказано не красного словца ради. Есть родственная близость и близость духовная, схожесть внешняя и внутренняя. Между сыном и матерью была близость и схожесть духовная, внутренняя. Это чувствовал каждый, кто их наблюдал. Чувствовал ее и я.

В этом предсмертном письме Островского, обращенном к матери, есть и второе, весьма важное признание: «В личной жизни — ты единственное мое богатство...»

Такова была степень привязанности, дружбы, любви.

Он не знал, что обращается к ней в последний раз, и жил скорой встречей:

«Ты меня прости, родная, за то, что я не писал тебе эти недели, по я никогда тебя не забываю. Береги себя и будь бодра. Зимние месяцы пройдут скоро, и вместе с весной я опять вернусь к тебе. Крепко жму твои руки, честные, рабочие руки, и нежно обнимаю».

Так он навсегда распрощался с матерью.

Мать же ждала сына в новом сочинском доме.

Мрачные предчувствия одолевали ее перед его отъездом в Москву. Он же, как всегда, старался ее утешить:

— Чего ты грустишь, родная? Ты ведь знаешь, что мне нужно ехать. Я закончу в Москве свою книгу, сдам ее в печать. Время пройдет незаметно, и я ранней весной вернусь. Мы будем вместе отдыхать здесь, греться на солнышке, будем много читать и слушать нашего милого соловья; он так хорошо поет в саду каждое утро. Наклонись и поцелуй меня в знак согласия.

Она промолчала, и он угадал ее мысли.

— Мы же не дети и должны понимать... все может случиться. Но это еще не скоро. Будь бодра, как раньше... Ведь так много хорошего впереди. Я буду часто писать тебе...

Он просил мать не волноваться, отдохнуть. Она поцеловала его и нехотя ушла.

Было это 21 октября 1936 года, а 22-го Островский отправился в «северную экспедицию».

Мать очень по нему тосковала и вскоре послала сыну, в Москву, свою фотографию в украинском платье.

«Милому моему сыночкуві,— надписала она.— Чи бачишь, сыну, як я зажурилась? Коли ж то вернется до мене мій милий Микола?

Твоя рідна матир».

Островский был радостно взволнован и долго расспрашивал, каков снимок. Потом попросил приобрести для

него хорошую рамку и поставить на письменный стол.

— Пусть всегда стоит там.

14 декабря он послал матери последнее письмо. А два дня спустя (письмо не успело еще дойти), он не выдержал и позвонил по телефону.

— Это ты, мама? Здравствуй, милая мамуся, родная, как твоё здоровье?.. Не скучаешь?.. Пиши чаще... Как я рад, что слышу твой голос, милая моя...

Последнее письмо и последний разговор...

Приведу её рассказ о ночи, предшествовавшей смерти Островского, записанный и опубликованный Н. Кальмой¹.

«— Сплю я у себя дома в Сочи и вижу сон: летят над морем самолёты, много самолётов и шумят, шумят, ушам больно. Понимаю я, что война это началась. Выбегаю из дому, вижу: стоит мой Коля, совсем здоровый, шинель на нём, шлем и винтовка в руке. А кругом него окопы, ямы и колючей проволокой кругом обвито. Я хочу Колю спросить о войне, да понимаю: он на часах стоит; значит, спрашивать его нельзя. Хочу в дом вернуться — ямы все шире, колючая проволока за ноги цепляет, не пускает. Хочу крикнуть — не могу.

Тут я проснулась и думаю: сон нехороший, верно, с Колей в Москве что приключилось. Думаю: пойду за билетом, поеду к Коле, в Москву. Хочу идти за билетом, а тут вдруг мне письмо от Коли подадут². Пишет он, что ему лучше, что скоро он вернется и весной будем вместе жить. Читаю, а тоска меня не отпускает. Уговариваю себя: ну, куда ты, старая, поедешь, зачем тебе ехать, раз Коля пишет, что все хорошо? И не пошла за билетом!»

А вот окончание рассказа:

«— А вечером улеглась я спать (часов одиннадцать уже было), слышу — стучатся:

¹ Н. Кальма. Две матери.— «Огонек», 1941, № 7.

² Имеется в виду письмо Островского от 14 декабря 1936 г.

— Ольга Осиповна, вы спите?

— Сплю,— говорю,— а сама по голосу узнаю одного знакомого из горкома.

— Вставайте,— говорит он.— Коле хуже сделалось, мы вас хотим в Москву отправить.

Тут у меня сердце к коленкам подкатило, лежу и только говорю ему, что вчерашний поезд уже ушел, а следующего до завтра надо дожидаться.

— Ничего, мы вас на дрезине отправим,— говорит этот человек.

А я знаю, что это трясучка такая, и наотрез отказываюсь. Тогда он подошел поближе к двери, да и сказал:

— Коля умер, нет больше Коли! — и заплакал».

...Никто не видел в те дни ее слез. Горе еще сильнее иссушило ее, но не одолело. Она прилетела в Москву и стояла у гроба в кружевном черном шарфе, строгая и гордая.

Год с лишним назад, когда ее сыну вручали орден Ленина, ее упросили выступить на торжественном пленуме сочинских организаций: горкома партии, горисполкома, горкома комсомола. Впервые в жизни выступала она тогда на людях.

— Милые друзья! — сказала она, преодолевая свое волнение.— Много я вам не буду говорить. Каждый отец и каждая мать поймут мое состояние. Я счастлива, что он еще живет и радуется людям и меня.

Сейчас, прощаясь навсегда с сыном и наблюдая нескончаемое траурное шествие, она понимала, что отцы и матери и те, кого по праву можно было назвать духовными братьями и сестрами Островского-Корчагина, всей душой разделяли ее нынешнее состояние. Ее боль была их болью. Горячее соболезнование выразила ей и сестра Ленина — Мария Ильинична Ульянова.

От этого становилось легче,

В материнском сердце родились строки:

Будь спокоен, мой сыночек,—
Я всегда с тобой.
Я твой вечный, неразлучный,
Верный часовой.

И теперь, после смерти Островского, его мать продолжала жить его интересами.

Ежедневно к ней приходили письма: здесь были и сердечные отклики на «Как закалялась сталь», «Рожденные бурей»; и просьбы прислать на память фотографии и книги Островского; и заверения работать и учиться «по-корчагински»; и приглашения в гости...

«Дорогая наша мама!» — обращались к ней неизвестные ребята.

Ее схожий с сыном характер, проявившийся в достаточной мере в годы жизни Островского, проявился и после его кончины. Вопреки всем недугам, она была бодра и деятельна.

Мать Островского стала своего рода шефом одной из поселковых сибирских школ. Она ездила к харьковским пионерам. Она встречалась и с актерами таганрогского ТЮЗа, поставившего «Как закалялась сталь».

Она не знала усталости, была такой, какой хотел ее видеть сын!

В феврале 1939 года исполнилось семьдесят лет Надежде Константиновне Крупской. Ольга Осиповна написала ей сердечное поздравление, поблагодарила за участие в создании Московского музея Н. Островского и послала в дар картину с изображением сына.

«На мою долю, — писала она, — долю матери, в течение долгих лет воспитывавшей своих детей в борьбе с жестокой нуждой, выпала почетная старость. И самое большое счастье в том, что этого добился, эту светлую старость подарил мне мой замечательный сын. Он победил свою

жестокую немощь, написал книгу, которая помогает людям жить и учит их по-большевистски бороться и побеждать трудности».

Еще до Великой Отечественной войны у нее завязались связи с воинскими частями: она не только переписывалась с бойцами, но и вместе с сотрудниками Сочинского музея Н. Островского выступала перед ними. В годы войны эти связи окрепли, расширились.

...У меня хранятся два письма, датированные августом 1943 года и связанные между собой. Одно из них принадлежит матери Островского, а другое — уже не раз упоминавшейся А. П. Лазаревой.

Я находился тогда на фронте — работал в газете 3-й армии «Боевое знамя». Наша армия двигалась на Орел. Нужно было воодушевить бойцов. Мы решили посвятить газетную страницу корчагинцам наших дней — героям боев. Написали о том в Сочи, матери Островского. Она быстро откликнулась обращением к бойцам. Его напечатали рядом с рассказами о подвигах духовных братьев Корчагина. Эту газету послали Ольге Осиповне.

И вот уже после освобождения Орла полевая почта доставила два письма.

Ольга Осиповна писала:

«Я сегодня получила Ваше письмо и две газеты. Вы не можете себе представить, как я была им рада. Мечта Коли сбылась. Мне уже семьдесят лет¹, но я стараюсь быть хоть чем-нибудь полезной... Какой Вы счастливый, что находитесь на фронте... Мы с Александрой Петровной (Лазаревой. — С. Т.) и Катей (сестрой Островского — Екатериной Алексеевной. — С. Т.) часто посещаем наших дорогих защитников, наших друзей, посещаем лазареты. Если бы Вы видели, с какой радостью и вниманием слушают бойцы

¹ Мать Н. Островского родилась в 1875 году. Ей тогда было не семьдесят, а шестьдесят восемь лет.

об Островском. Если бы это знал Коля! Это было бы для него выше всяких наград. И меня встречают любовно, хотя в сущности я ничего особенного не сделала.

На одном собрании молодые матери меня попросили, чтобы я научила их воспитывать детей, чтобы их дети были полноценными людьми.

Я им на это ответила: «Если хотите, чтобы ваши дети были хорошими, то вы реже смотрите в зеркало, а чаще смотрите, где сын ходит и что он делает. Тогда будет все в порядке».

Вы не представляете себе, как меня провожали, какие были аплодисменты. Мне просто стало не по себе.

Когда я возвращалась домой, меня нагнал один гражданин, поздоровался и сказал: «Позвольте вам пожать руку». Я улыбнулась и спросила: «Вы тоже часто смотрите в зеркало?» Он тяжело вздохнул и махнул рукой: «Ох, не говорите!»

Много бывает встреч и с бойцами. Мы хоть живем не на фронте, но живем фронтом... Я хочу умереть лишь тогда, когда буду уверена, что нет Гитлера...»

Приведу и отрывок из второго письма. Он дополняет образ матери Островского.

«...Ольга Осиповна не так изменилась внешне, хотя тоже похудела. К печени своей О. О. относится как к Гитлеру. Так она ее мучит. Она очень худенькая, хрупкая, но деятельная и бодрая, как всегда. Она у нас внештатный сотрудник музея. Мы с ней и в Сочи и в Боржоми (мы были там 6 месяцев), много бывали у бойцов. Она чудесно рассказывает. Я слышала ее уже раз 200 и готова слушать еще столько же. Записала я ее выступления, сохранив стиль ее речи, характерные словечки и выражения¹. О. О.

¹ Некоторые из этих записей приведены в моей книге «Жизнь и творчество Николая Островского». М., «Художественная литература», 1964.

так понравилось, что она попросила прочесть два раза и все удивлялась: оказывается, интересно слушать то, что она говорит», — писала А. П. Лазарева.

Островскому больно было думать, что он физически не сможет занять своего боевого места в грядущей схватке с фашизмом. Он с грустью писал в 1935 году своему давнишнему другу А. И. Пузыревскому: «...одному не бывать: это не взлезть мне еще раз на коняку, прицепив саблю к до боку и не тряхнуть уж стариной, если гром ударит...» Но сейчас он вместе с Корчагиным отважно сражался с врагом на фронте и в тылу. Иные литературные звезды поблекли, а его — сияла с новой невиданной силой. Мать Островского помогала тому.

Она рассылала книги Островского. Обращалась к бойцам с вдохновенными письмами. Посещала госпитали.

— Когда она входила в палаты тяжелораненых, — вспоминала А. П. Лазарева, — у них светлели лица...

А вот и выдержка из очерка «Подвиг милосердия»¹ о 1418 днях и ночах боевой вахты сочинцев, о 8 тысячах операций хирурга Ивана Дмитриевича Чебрикова, о 500 тысячах спасенных от смерти жизней. 50 дивизий военного времени вернул в строй всесоюзный сочинский курорт. И в этом активно участвовала мать Островского. Цитирую:

«Мать Н. А. Островского была частой посетительницей госпиталя. В стареньком черном пальто приходила она к страдающим людям с патефоном, настраивала пластинку, и бойцы слышали голос мужества — голос Николая Островского: «А ты все сделал, чтобы эту жизнь победить?» «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой»...

Она жила не на фронте, но действительно жила фронтом.

¹ В. Дармодехин, Ю. Феофанов. — «Известия», 14 сентября 1967.

Некогда Островский называл письма, получаемые им со всех концов страны, самым дорогим своим сокровищем. Теперь таким сокровищем стали бумажные треугольники с номерами полевых почт, ежедневно доставляемые его матери.

Вот одно из них.

«Дорогая Ольга Осиповна! Мы шлем Вам, нашей матери, матери нашего Николая, свой сердечный фронтовой комсомольский привет. В победоносных боях, которые ведет Красная Армия, перед бойцами как живой стоит образ нашего старшего товарища, Вашего героического сына... Клянемся Вам, дорогая Ольга Осиповна, что мы, комсомольцы, не опозорим наше дважды краснознаменное, овеянное славой боев знамя Ленинского комсомола. Мы докажем, на что способно новое поколение Корчагинных.

Желаем Вам долгих лет счастливой жизни».

А вот запись, оставленная пограничником в книге отзывов Сочинского музея Н. А. Островского, в сентябре 1944 года:

«Мы говорим двум матерям — Родине и Ольге Осиповне — большевистское спасибо, дорогие, за такого сына! И мы, верные последователи Николая, отстоим Вас обеих в любых схватках с врагом».

...Мать Островского дожила до того счастливого дня, когда знамя Победы было водружено над поверженным Берлином, и она уверилась в том, что Гитлеру капут, что нет уже фашистского злодея.

Она скончалась 25 июня 1947 года, семидесяти двух лет от роду.

Но в благодарной людской памяти никогда не умрет человек, которого Николай Островский любовно назвал бессменной ударницей и верным своим часовым.



РЯДОМ С ОСТРОВСКИМ

Тот, кто читал «Как закалялась сталь», обратил, вероятно, внимание на динамичные, впечатляющие строки:

«С лошади — к письменному столу, от стола — на площадь, где маршируют обучаемые взводы молодняка; клуб, школа, два-три заседания, а ночь — лошадь, маузер у бедра и резкое: «Стой! Кто идет?», стук колес убегающей

подводы с закордонным товаром — из этого складывались дни и многие ночи военкомбата 2».

Это — из второй части, из главы, посвященной берездовскому периоду жизни Корчагина. Там же мы знакомимся и с председателем Берездовского исполкома Николаем Николаевичем Лисицыным в тот самый момент, когда он дочитывает только что полученную строго секретную депешу:

«На границе замечается оживленная переброска поляками крупной банды, могущей терроризировать пограничные районы. Примите меры предосторожности. Предлагается ценности финотдела переслать в округ, не задерживая у себя налоговых сумм».

Год 1923-й...

Островский с любовью набрасывает портрет Лисицына: «Крепкое тело, большая голова, посаженная на могучую шею, карие, с холодком, пропицательные глаза, энергичная, резкая линия подбородка. Синие рейтузы, серый, «видавший виды» френч, на левом нагрудном кармане орден Красного Знамени».

Лисицын молод: ему всего лишь двадцать четыре года. Но выглядит он тридцатипятилетним. Именно таким кажется он всем, кому приходится с ним встречаться. «Он — большой и сильный человек, суровый и подчас грозный...»

Писатель задерживает наше внимание на биографии Лисицына, столь характерной для людей его класса и его времени.

«До Октября Лисицын «командовал» токарным станком на Тульском оружейном заводе, где его дед и отец и он почти с детских лет резали и точили железо.

А с той осенней ночи, когда впервые схватил в руки оружие, которое до этого лишь делал, попал Коля Лисицын в буран. Бросали его революция и партия из одного

пожара в другой. От красноармейца до боевого командира и комиссара полка прошел свой славный путь тульский оружейник».

С этим человеком встретился и сдружился в пограничном Берездове Корчагин. Именно ему Лисицын доверяет ответственное задание, предписанное депешей. И Корчагин его выполняет.

«Перевыборы Советов, борьба с бандитами, культработа, борьба с контрабандой, военно-партийная и комсомольская работа — вот круг, по которому мчалась от зари до глубокой ночи жизнь Лисицына, Трофимова, Корчагина и немногочисленного собранного ими актива».

Кто такой Трофимов? В той же главе читаем:

«Тихо в доме. Поздняя ночь, партком опустел. Недавно последним ушел Трофимов, секретарь райкомпарта»¹.

Лисицын жил в Берездове со своей маленькой сестренкой Нюрой, которую Корчагин запросто звал Анюткой.

Островский не ограничился внешним рисунком Лисицына и общей характеристикой его деятельности. Он показал его и в деле. Я имею в виду, например, то, как проявил себя Лисицын в борьбе с бандой Антонюка.

«— До каких пор этот гад будет нас кусать? Дождется, стерва, что я и сам за него примусь, — цедил он сквозь сжатые зубы. И дважды кидался predisполкома на свежий след бандита, захватив с собой Корчагина и еще трех коммунистов...»

Лисицын, мы вправе это сказать, был во многом примером для Корчагина.

«Иногда по вечерам у Лисицына за большим столом до поздней ночи засиживалось трое: сам Лисицын, Корчагин и новый секретарь райкомпартии Лычиков.

¹ И. А. Трофимов назвап своей подлинной фамилией. О нем была публикация Я. Крочека в журнале «Огонек» (1964, № 40). Трофимов уехал из Берездова в августе — сентябре 1923 г.

Дверь в спальню закрыта. Анютка и жена predisполкома спят, а трое за столом нагнулись над небольшой книгой. Лисицын находил время учиться только по ночам. В те дни, когда Павел возвращался из сел, он проводил вечера у Лисицына и с огорчением узнавал, что Лычиков и Николай уже ушли вперед...

Корчагин и Лисицын неразлучны.

...В Поддубецах убили комсомольского вожака Гришутку Хороводько. Корчагин тяжело переживает его смерть. Через неделю открывается районный съезд Советов, и Лисицын докладывает, что они «с корнем уничтожили бандитизм и подрубили ноги контрабандному промыслу. Убийцы Хороводько пойманы и будут судимы». Он говорит о том, что в селах окрепли организации деревенской бедноты, созданы новые партийные ячейки и в десять раз увеличилось количество комсомольцев.

Зал дрожит от гневных выкриков:

— Смерть врагам Советской власти!

Делегаты поддерживают требование о применении к бандам-террористам высшей меры наказания.

Корчагин среди делегатов съезда.

...Секретарь окружкома Федотов просит Лисицына прислать к нему Корчагина. Тот говорит: «Хорошо. Только уговор: не подумайте его от нас взять, будем категорически возражать».

А когда, в конце той же четвертой главы, Корчагину все же приходится покинуть Берездов, то среди провожавших его Островский выделил лишь двоих: завженотделом, «узкоглазую волжанку» Лиду Полевых и, конечно же, Лисицына. Они «крепко, до боли, сжимали Павлу руки, Лисицын и Лида по-братски обняли...»

На этом обрывается связь героев романа Островского — Корчагина и Лисицына.

Но не оборвалась связь Островского с тем же Лисицы-

ным, который вошел в роман не только со своей фамилией, но и со своим именем и отчеством. Он принадлежит к тем героям жизни, которых Островский ввел в свое произведение во всей их, так сказать, натуральности.

Известно, что «Как закалялась сталь» рождена жизнью Островского и во многом автобиографична. «Главных действующих лиц я знал лично», — писал он. И отмечал, что большинство из них представлены в его книге под вымышленными фамилиями. Среди тех же, чью фамилию он сохранил в неприкосновенности, — Лисицын.

Николай Николаевич Лисицын — действительно потомственный тульский оружейник. Пять лет назад в тульской газете «Коммунар» появился очерк о нем Я. Крочека. Там рассказано о его жизни и его смерти. А недавно заглянул ко мне тульский учитель С. А. Рассаднев и показал новые, найденные им материалы о Лисицыне.

Рассаднев написал и стихотворение о Лисицыне.

...Отошли, мелькнули
Годы те далече,
Когда жил ты в Туле,
Шел родным Заречьем.
Книжные страницы
Твоим делом стали,
Николай Лисицын,
Человек из стали...

О Лисицыне вспомнили не только в родной Туле, но и на Николаевском судостроительном заводе, где его избирали в 1927—1928 гг. секретарем партийной организации. Заводская многотиражка напечатала о нем очерк и страницу откликов. «Мы не знали такого судостроителя, — писали рабочие, — который бы не любил Николая Николаевича, не уважал его за деловитость, простоту, скромность... Таким он запомнился всем, кому выпало счастье знать этого человека».

Кем же был исторически-реальный Лисицын для Островского? И почему он увековечил его в своей книге?

Знакомясь с биографией Николая Николаевича Лисицына и сравнивая ее с тем, что написано о нем в «Как закалялась сталь», находишь, что все сказанное о Лисицыне в книге соответствует тому, что было в жизни¹. Жизнь вносит лишь одно-единственное уточнение: Лисицыну в 1923 году не двадцать четыре года, а двадцать шесть. И только!

Корчагин (как и, разумеется, Островский) в разные периоды своей жизни встречался со старыми большевиками, которые были его учителями, наставниками. Такими, как мы знаем, являлись для него Жухрай и Долинник, Сегал и Токарев, Леденев и Чернокозов... В Берездове — Николай Николаевич Лисицын — личность весьма колоритная.

Он был старше Островского лет на семь. И в партию вступил еще в 1918 году, находясь в армии. В гражданскую войну Николай Николаевич сражался на разных фронтах, был комиссаром полка. Тогда-то его и наградили орденом Красного Знамени.

В Берездове Лисицын работал не только председателем райисполкома, но одновременно в течение нескольких

¹ Любопытно в этой связи свидетельство сестры писателя — Е. А. Островской, которая жила вместе с Н. А. Островским в Берездове.

«...Зима, жарко натопленная печь в квартире Лисицыных, у стола, склонившись над книгами, сидят Коля Лисицын и Коля Островский. пышная рыжевато-кудрявая шевелюра Николая Николаевича почти касается волнистых черных волос Коли. При свете керосиновой лампы это было так красиво. Вот когда я жалела, что не умела рисовать. Оба лица были так хороши и одухотворены. Каждую минуту ребята старались использовать для учебы, учеба роднила их».

Как это перекликается с тем, что мы знаем уже из «Как закалялась сталь»! Их роднила, разумеется, не только тяга к учебе.

месяцев исполнял обязанности секретаря партийного комитета.

Когда в октябре 1923 года на районном собрании коммунистов и комсомольцев Островского принимали в кандидаты партии, или, как тогда говорили, «передавали из комсомола в партию», то на этом собрании председательствовал Лисицын. Он и докладывал по второму вопросу повестки дня: «О переводе в партию». А позже Лисицын — один из трех коммунистов, которые рекомендуют Островского в члены партии¹. Факт — весьма и весьма важный. В протоколе партийного собрания Изяслава от 9 августа 1924 года рекомендация Н. Н. Лисицына значится первой. За ней следуют рекомендации М. М. Бойко и А. Я. Калиновского — членов партии с 1919 года.

...После Берездова Островский и Лисицын не раз встречались в Шепетовке. А до того как Островский написал четвертую главу второй части своей книги, ту самую, в которой появился Лисицын, он снова повидался с ним в Москве. С Николаем Николаевичем и на этот раз была его сестренка Нюра — Анютка, ставшая студенткой Киевского авиационного института. Величали ее теперь Анной Николаевной.

В этом месте можно сослаться на ее свидетельство.

¹ После того, как этот очерк, в несколько сокращенном виде, увидел свет на страницах «Комсомольской правды», я получил письмо из Ленинграда от инженера, начальника одного из цехов завода «Большевик» Б. Е. Котляра, комсомольца середины 20-х годов. Он жил в Изяславе в то время, когда там работал Н. Островский и Н. Лисицын. Хорошо знал он и Нюру Лисицыну. В письме имеются строки, характеризующие обстановку тех лет, Лисицына и его сестру. Они представляют интерес, и я приведу их.

«Трудное время было тогда на Украине.

Еще не была забыта последняя Польская кампания, на периферии шло становление Соввласти, было холодно и голодно, шла борьба с бандитизмом, контрабандистами и всякой нечистью.

— Какая это была радостная встреча! Брат заявил о своем приходе припевом «Дубинушки»: «Эх, дубинушка, ухнем...» Островский, который еще в Берездове пел ее с Лисицыным, встрепнулся, сразу же узнал его и воскликнул: «Николай Николаевич, друже, здравствуй!..» Они долго беседовали о прожитых годах, о Берездове... Островский рассказывал о своей работе над книгой... Былое ожило в его памяти. И потом вошло в четвертую главу второй части «Как закалялась сталь». Толчком тому послужила, должно быть, эта встреча.

Анна Николаевна вспомнила и то, как Островский прислал ей позже эту главу еще в рукописи.

— Он написал правду о том суровом времени и о брате. Но глаза Николая Николаевича «с холодком», как сказано у Островского, в домашней обстановке искрились теплым светом, были мягкими, ласковыми, золотистыми.

Детей в школу пускали только при наличии полена дров под мышкой и мешочка с зерном для учителей.

В это самое время в г. Изяславе появился Лисицын, истинный полпред Коммунистической партии, настоящий политический деятель, партийный вожак, пользовавшийся неограниченным авторитетом у всего местного населения.

Для нас, молодых юношей, он по своему внешнему облику, политическому кругозору и опыту работы с массами казался исполином. Высокий, могучий, с чудесной шевелюрой волос, он был превосходным оратором, умевшим поднять слушателей и вселять в них глубокую веру в дело, которому он беззаветно служил и за которое он преждевременно отдал свою жизнь».

Если мне не изменяет память, он, очевидно от контузии, слегка заикался, но от этого пламенность его речи не тускнела.

Будучи глубоко принципиальным коммунистом, он особенно был беспощаден ко всем тем, кто пытался извращать линию партии.

Сестра его Нюра была вся в брата. Внешне взрослее своих сверстников, золотоволосая, энергичная, полная жизни, активная комсомолка, она была нами всеми любима и являлась для нас непрекрасимым авторитетом».

...Потом к Островскому пришла слава. Лисицын от души поздравил его с орденом Ленина. Он окончил к тому времени Военно-техническую академию имени Дзержинского и был начальником технического штаба одной из механизированных бригад.

— Только одно чувство испытывал я к этому человеку,— говорил о Лисицыне его сослуживец,— чувство безграничного уважения. В нем постоянно жил дух партийности.

Это-то и роднило его с Островским-Корчагиным.

...Островский умер 22 декабря 1936 года. Похороны его состоялись через четыре дня. Лисицын был тяжело болен. Но он приехал тогда в морозную Москву, чтобы в последний раз взглянуть в лицо друга и навеки с ним попрощаться.

Вскоре не стало и самого Лисицына.

Но вот мы читаем «Как закалялась сталь»: часть вторая, глава четвертая. Она начинается словами:

«Рубеж — это два столба». Перед нами возникает маленькое пограничное местечко Берездов... Объявление: «Сегодня в клубе созывается открытое собрание трудящейся молодежи. С докладом выступает пред. исполнительного комитета Лисицын и врид секретаря райкома товарищ Корчагин».

...Жив Корчагин-Островский. И вместе с ним жив бывший тульский оружейник, герой гражданской войны Николай Николаевич Лисицын.

1967 г.



НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ — АННА ДАВИДОВА

Я писал уже о людях, чьи биографии так или иначе связаны с биографией Николая Островского. Сейчас пишу об Анне Павловне Давыдовой, которая известна читателям по письмам Островского, опубликованным в третьем томе его собрания сочинений. Там, к сожалению, представлены не все его письма, адресованные «милой Галке», или «милой Галочке», как именовал Островский

Давыдову. Первое письмо датировано 3 июля 1926 года.

Но вот в Симферополе вышла книжечка А. П. Давыдовой «Воспоминания о Николае Островском», и мы узнаем о еще нескольких его письмах, посланных Давыдовой еще в августе — сентябре 1925 года из Евпатории и Славянска, и о письмах, адресованных ей же в мае 1926 года, когда Островский снова находился в Евпатории. В той же книжечке мы находим и клише фотографии Островского, подаренной им Давыдовой в 1925 году, перед тем как он впервые отправился на евпаторийский курорт.

Читая письма Островского, убеждаешься, что А. П. Давыдова была близким его другом, что он делился с нею и своими радостями, которых было тогда, увы, крайне мало, и горестями, которых было, увы, очень много. Он охотно посвящал ее в сложные перипетии своей жизни и, что тоже важно для определения их отношений, был в курсе ее житья-бытья. «Получил я твое письмо, Галя, и... понял, что невеселые перевалы у тебя, моя славная». Он доверял ей сокровенное, и она отвечала ему тем же.

Кто же такая А. П. Давыдова? Когда и где они встретились? Почему так сдружились?

«Это было в конце декабря 1924 года,— вспоминает Давыдова.— Я только что пришла из отпуска и вернулась к себе на работу в Харьковский научно-исследовательский медико-механический институт (теперь Институт ортопедии и травматологии имени профессора Ситенко). Зайдя как-то в одну из палат, расположенных на третьем этаже, я увидела нового больного, которому можно было дать не более двадцати лет. Он был худощав, выше среднего роста, с живыми, быстрыми глазами. На голове — густая шапка волос».

На что она сразу же обратила внимание?

На тумбочке Островского — горка книг. В палате, где он находился, необычайно шумно: идут шахматные бои,

спорят... Сюда тянутся больные из других палат. Чаще и громче всех слышен голос новичка. Вечером давно дан отбой, а тут не могут успокоиться. Приходится «призывать к порядку». Но: «Бывало, зайдешь к ним, послушаешь их разговоры и сама останешься здесь, не заметишь, как и засидишься. Глянешь на часы — бог мой! — полночь... Погасишь свет, пригрозил товарищам, чтобы спали».

Так повторялось из вечера в вечер. Новый больной страдал бессонницей из-за мучительных болей в колене. Палатная сестра Давыдова задерживалась у его постели. И он тогда полусшепотом, стараясь никого не разбудить, рассказывал ей о своей мятежной жизни.

«Продолжительные вечерние беседы как-то сблизили нас с Николаем. Мы быстро подружились. Вначале он мне показался человеком хмурым, замкнутым: взгляд черных глаз исподлобья, в котором иногда проскальзывало скрытое страдание... По всему было видно, что ему тесно и душно в этих комнатах, что он стремится вырваться на простор, уйти подальше от врачей с их строгим режимом, уйти на свободу, чтобы снова окунуться в кипучую деятельность, чувствовалось, что беспокойное, горячее сердце юноши не может смириться с больничной койкой».

Наблюдение верное. Оно соответствует тому, что писал позже сам Островский: «Тогда я был как волчонок, пойманный и запертый в клетку».

И хотя Островский был моложе Давыдовой на три года, она скоро поняла, что перед нею опытный и стойкий боец, который «давно заглянул в самую глубину жизни» и отлично знает, «куда идти и за что бороться».

Островский пробыл тогда в институте несколько месяцев. Давыдова встречалась с ним почти ежедневно и часто засиживалась у его кровати.

«Наша дружба с каждым днем крепла. Мы перешли на

«ты». Николай пачал многое мне доверять. Просил приносить книги, часто интересовался моими успехами в учебе». (Девушка совмещала работу с учебой в медицинском институте.— С. Т.).

«Как дела, «старушка»? — ласково спрашивал он.— Скоро ли будешь врачом, скоро ли найдешь средства борьбы против болезней?»

Летом 1925 года Островского направляют по путевке ЦК КП(б)У на евпаторийский курорт, в санаторий «Коммунар». О том упомянуто в конце шестой главы второй части «Как закалялась сталь»: «Санаторий Цека — «Коммунар». Клумбы роз, искристый перелив фонтана, обвитые виноградом корпуса в саду. Белые кители и купальные костюмы отдыхающих. Молодая женщина — врач записывает фамилию, имя. Просторная комната в угловом корпусе, ослепительная белизна постели, чистота и ничем не нарушаемая тишина. Переодетый, освеженный принятой ванной, Корчагин устремился к морю.

Насколько мог окинуть глаз — величественное спокойствие сине-черного, как полированный мрамор, морского простора. Где-то в далекой голубой дымке терялись его границы; расплавленное солнце отражалось на его поверхности пожаром бликов. Вдали сквозь утренний туман вырисовывались массивные глыбы горного хребта. Грудь глубоко вдыхала живительную свежесть морского бриза, а глаза не могли оторваться от великого спокойствия синевы.

Ласково подбиралась к ногам ленивая волна, лизала золотой песок берега».

Перед отъездом в Крым Островский побывал на квартире у Давыдовой, познакомился с ее матерью и сестрой, подарил ей свою фотографию.

Вскоре начали прибывать его письма. Верный себе, Николай старался крепиться, уходить подальше от своей

болезни. Больше того, он рассказывал в письмах всякие забавные истории, с иронией писал о похождениях отдельных больных, лечившихся с ним в здравнице.

Что же касается состояния его здоровья, то об этом — коротко и выразительно: «...факт остается фактом — я без костылей — ни шагу».

Из Евпатории Островский вернулся в Харьков. Но врачи настояли, чтобы он уехал на грязи в Славянск. Там он пробыл весь сентябрь. В письмах к Давыдовой Островский делится тем, как идет лечение, как он живет. «Живу один в комнате, всегда один. Читаю и пишу. Тишина кругом. Никуда ни шагу, только на ванну и обратно. Так день за днем. Даже тяжело от этого постоянного одиночества... Может, уеду в Москву. Зарождается у меня желание чем-нибудь прекратить эту волокиту по лазаретам. Одна мысль о них невозможна. Со всех концов идут ко мне призывы работать. Будь то силы, Галя! Стало упрямым, замкнутым мое существо. Закрылся я плотно. Одно преобладает над всем — идти напролом, бороться, чем можно, без сантиментов и нытья, как когда-то боролся в добрые прошедшие времена. А потом подсчитаем шансы. Пока еще бьет вера и стремление к жизни, работе, не может быть и речи о чем-либо другом».

Письмо, выдержку из которого я привел, помечено 13 сентябрем 1925 года. Это весьма важно.

До сих пор мы ссылались на более позднее признание Островского относительно того, что он собирается писать «историческо-лирическо-героическую повесть»: оно было сделано им в письме из Новороссийска 22 октября 1927 года. Теперь есть основание полагать, что еще два года до того он не только собирался писать свою будущую «Как закалялась сталь», но и делал какие-то наброски («Читаю и пишу»). И уже тогда он твердо решил «идти напролом». Знаменателен, конечно, вывод: «Пока еще бьет

вера и стремление к жизни, работе, не может быть и речи о чем-либо другом».

Островский находился тогда в Славянске, в Южном санатории.

Из Славянска он возвращается в тот же Харьков, и болезнь вынуждает его снова лечь в уже знакомый нам медико-механический институт. Ему делают операцию синовиальной оболочки правого коленного сустава. Давыдова дежурит у его постели.

«Несмотря на сильные боли, Николай отказывался от морфия. Когда наступало хоть небольшое облегчение, он отсылал меня в дежурку отдохнуть.

— У тебя, Галочка, завтра уроки, передохни малость».

После операции Островский вторично лежал в медико-механическом институте до весны 1926 года. В первой половине мая его снова направили в Евпаторию, на сей раз в санаторий «Мойнаки». Напомню в этой связи строки из седьмой главы второй части «Как закалялась сталь»:

«Опять Евпатория. Южный зной. Крикливые загорелые люди в вышитых золотом тюрбетейках. Автомобиль в десять минут доставляет пассажиров к двухэтажному, из серого известняка зданию санатория «Майнак»¹.

Там Корчагин сблизился с эстонцем Вайманом, латышкой Мартой Лауринь и русским сибиряком Леденевым. Лечащиеся в санатории шутливо называли их «Исполкомом Коминтерна».

Вторичному пребыванию Корчагина в Евпатории Островский уделил значительно больше места, нежели первому. Он знакомит нас с новыми друзьями Корчагина и выделяет среди них — Иннокентия Павловича Леденева.

«У Корчагина и Леденева была одна общая дата: Корчагин родился в тот год, когда Леденев вступил в партию.

¹ Здесь описка: должно быть «Мойнаки».

Оба были типичные представители молодой и старой гвардии большевиков. У одного — большой жизненный и политический опыт, годы подполья, царских тюрем, потом — большая государственная работа; у другого — пламенная юность и всего лишь восемь лет борьбы, могущих сжечь не одну жизнь. И оба они — старый и молодой — имели горячие сердца и разбитое здоровье.

С Леденевым связано и весьма важное признание Корчагина, характеризующее его натуру.

До сих пор Корчагин слыл в санатории шахматным чемпионом. Но вот он встречается с Леденевым и терпит поражение. Другой давно бы уже сдался. Он же продолжает игру и говорит: «Я всегда держусь до последней пешки». Леденев понимает смысл этих слов и одобрительно кивает головой.

«Корчагин потерял звание «чемпиона», но вместо этой игрушечной чести нашел в Иннокентии Павловиче человека, ставшего ему впоследствии дорогим и близким».

Иннокентий Павлович Леденев был, как известно, Иннокентием Павловичем Феденевым, который стал затем близким другом Островского, его доверенным лицом. Островский во всем полагался на него. От его имени он даже подписал договор с издательством «Молодая гвардия» на вторую часть «Как закалялась сталь».

«Все мои дела в редакции делает старик Феденев, — писал Островский 7 мая 1932 года. — Его мне послала «фортуна». Он член ВКП(б) с 1904 года, много сидел по тюрьмам, был комиссаром Конармии, теперь руководит иностранным отделом Госбанка. Он часто бывает теперь у меня и рассказывает обо всем. Он привозит мне и деньги».

Известно и то, что Марта Лауринь не кто иная, как Марта Пуринь. Ей в этой книге посвящен отдельный очерк.

Эстонец — тоже реально существовавшее лицо; о нем Островский упоминает в письме к Давыдовой: «...один эстонец из ЦК МОПРа...»¹.

Островский пробыл на этот раз в Евпатории до середины июля. Письмо к Давыдовой от 3 июля вошло в Собрание сочинений. «Теперь же можно подвести итоги», — писал он.

Итоги были крайне огорчительными: «...здоровье все то же... позвоночник разболелся вовсю от грязи, сняли рентген и... самый настоящий спондилит второго позвонка... Это поворачивает колесо еще больше в сторону. Кто кого (вопрос) все еще не решен, хотя противник (болезнь) получил основательную поддержку (спондилит)».

В том же письме, приведенном в воспоминаниях Давыдовой, имеется еще один весьма важный абзац, которого нет, к сожалению, в тексте письма, представленного в Собрании сочинений (т. 3, стр. 11—12). Этот абзац свидетельствует о том, что хотя трагический вопрос «кто кого» и решался не в пользу Островского, стремление идти напролом не ослабевало, а крепло. Он писал:

«...А новости другого фронта хороши. Недоразумение и ослабленность фронта (волевого) ликвидированы окончательно. Я поставил точку. Замечательную точку «фабрикации» Островского».

Из Евпатории он переключивается в Новороссийск. От Давыдовой нет писем, и Островский обеспокоен: «...думал, было, забыла, не хочешь писать». Он обращается в адрес института и на Змиевскую, где жила Анна, просит своего харьковского друга Новикова выругать ее «по-хорошему».

Прибывает ее ответ, и Островский обрадован: «Ну, так

¹ ЦК МОПРа — Центральный комитет Международной организации помощи революционерам.

и быть, не будем вспоминать старое». Он снова и снова посвящает «милую Галочку» в свое печальное житье. «Здоровье мое, к сожалению, определенно понижается, равномерно, медленно, но точно. Недавно потерял подвижность левой руки, плеча. Как знаешь, у меня анкилоз правого плечевого сустава, теперь и левый... Я теперь сам не могу даже волос причесать, не говоря уже о том, что это тяжело. Теперь горит воспаленное левое бедро, и я уже чувствую, что двинуть его в сторону не могу... Итак, я теряю подвижность всех суставов, которые еще недавно подчинялись. Полное окостенение».

По ответному письму Островского можно представить и то, о чем писала ему Давыдова.

«Галочка! Ты пишешь о бодрости и воле. Малыш мой хороший!»

Болезнь наступает. Медицина бессильна. Островский уже понимает это, и потому из-под его пера (он еще пишет!) вырываются строки: «Я вообще терпеть не могу медиков. Теперь органически не переношу». Он обращается к Давыдовой: «И если бы я писал тебе как медику, а не как милой, славной девушке, то тебе пришлось бы выслушать довольно невеселые вещи».

Островский посвящает Давыдову и в свои интимные переживания. Заканчивает же он письмо словами, которые требуют расшифровки: «Я знаю, что ты славная чудачка. Нас тем более связывает одно выступление, за которое яму тебе руку, моя хорошая Галочка, «старушка»».

Что это за одно выступление, которое его связывало с Давыдовой и за которое он с благодарностью жал ей руку? Об этом — несколько позже. Сейчас же продолжу обзор писем Островского.

В Новороссийске ему было крайне тяжело. Он рванулся в Харьков, надеясь встретиться там и с Анной

(«А я тебя так хотел видеть»). Но они не встретились: Давыдовой не было тогда в Харькове.

Из Харькова он едет в Москву и проводит там три недели. «Был в кругу ребят-друзей, набросился на книги и все новинки; жаль только, что было это коротко...»

По настоянию врачей пришлось покинуть Москву и возвратиться в Новороссийск. Отсюда он и пишет новое письмо Анне, в котором рассказывает о своем путешествии. Она, оказывается, тоже была в Москве и написала ему оттуда: волновало, что с ним. И вот ответ:

«...У меня, Галочка, одна печаль — это позвоночник. Он разболелся вдрызг, и все остальное кажется мелочным по сравнению с ним. Задыхаюсь по ночам буквально. На спине не могу лежать из-за рук и ног, а на боку страшно больно. Сам поворачиваться не могу никак, меня поворачивают. Ходить почти не могу. 10 шагов в день и то с большим трудом... Много нужно воли, чтобы не сорваться раньше срока. Бывают и невеселые дни, когда все кажется темным, но в основном контроль есть. Слишком тянет жизнь с ее борьбой и стройкой, чтобы пустить себя в расход. Живешь вечно новой надеждой, что хоть как-нибудь буду работать».

Физические силы оставляли его. Но не оставляла надежда. Жизнь звала, и он откликался на ее зов.

Приведенная выдержка из письма Островского к Давыдовой дает возможность проникнуть в тайну его героизма, который и по сей день остается для многих за семью печатями.

Человек такого мышления, такого отношения к жизни не мог вести себя по-другому. «Слишком тянет жизнь с ее борьбой и стройкой, чтобы пустить себя в расход». Он был «слишком» общественным человеком. Иная линия поведения была бы изменой себе, своей социальной сущности.

Обстоятельное и убедительное обоснование тому мы находим в письме Островского, посланном Давыдовой 7 января 1927 года из того же Новороссийска. В нем — личное неотделимо от общественного. Оно, конечно же, предельно искренне и именно потому столь выразительно. Точка «фабрикации Островского» имеет, как мы можем убедиться, прочное основание: она философски, не побоимся употребить это слово, осмыслена.

Обратимся к письму.

В нем — старое, нежное, доверительное отношение к «милрой Галочке». Островский относит ее к числу тех немногих, оставшихся у него друзей, которые так или иначе связывают его с внешним миром. Он отвечает на ее вопросы:

«Друзей у меня нет. (Имеется в виду в Новороссийске.— *С. Т.*) То есть таких друзей, как мы понимаем. Правда, меня окружают люди, относятся ко мне очень хорошо — это семья, типично обывательская. И с ними в процессе общения живу хорошо, но не могу получить от них того, что могут дать люди моей семьи. Одно, что тяготит, это то, что я оторван от своих ребят-коммунистов. Уже сколько месяцев я в глаза не видел никого из своих, не узнал о живой строящейся жизни, о делающей свое дело партии, а должен жить и кружиться (если вообще можно кружиться и жить в кровати) в кругу, который моим внутренним запросам ничего не может дать в силу известных причин.

Ты знаешь и, надеюсь, искренне веришь в то, что партия для меня является почти всем, что мне тяжело вот такое состояние, что я не могу, как даже в Харькове, быть ближе к жизни. Кака-то пустота вырисовывается, незаметно ощущается какое-то новое ощущение, которое можно назвать прозябанием, потому что дни пусты иногда настолько, что высказывают разные анемично-бледные

мыслишки и решения. Тебе яснее, чем кому бы то ни было, что если человек не животное, узкобое, шкурное, тупое, как бывает, жадно цепляющееся за самый факт существования, исключительно желая сохранить жизнь для продолжения такого же существования, и не видящее всю четкость фактов, то иногда бывают очень невеселые вещи».

Можно было бы, разумеется, не приводить это место дословно, а пересказать. Цитат, заметит читатель, достаточно. Но я не счел нужным излагать то, что достовернее и убедительнее выглядит именно в подлиннике, где содержателен сам стиль автора. Я пишу об Островском, и хочется, чтобы читатель как можно полнее познал правду. Любое переложение — отход от нее. Я хочу, чтобы читатель реально представил себе автора писем — двадцатитрехлетнего юношу, терпящего катастрофу, находящегося на грани жизни и смерти и продолжающего борьбу не за существование, а за жизнь в большом человеческом смысле этого слова. Уже три года он ведет эту самоотверженную борьбу и терпит поражение за поражением. Другой давно бы уже капитулировал. А он бросает дерзкий вызов смерти и готов драться с нею и на последнем рубеже.

Бывают, конечно, минуты отчаяния. Да что минуты! Его окружает непроницаемый мрак и наступает кризис духа. Островский думает о том, чтобы вывести в расход предавшее его тело. Из-под его пера выползают строки: «Я, как большевик, должен вынести решение о расстреле [...] организма, сдавшего все позиции и ставшего совершенно не нужным никому, ни обществу, а тем самым и мне [...]». С болью и яростью он пишет: «Мне по своему существу нужны железные, непортящиеся клетки, а не такая сволочь».

Но он гонит прочь «анемично-бледные мыслишки и ре-

пения». У него «каленное сталью большевистское сердечко», и он «живуч, как большевик». Тяжело раненный боец остается в строю!

Послушайте: «Если бы в основу моего существа не был заложен так прочно закон борьбы до последней возможности, то я давно бы себя расстрелял, потому что так существовать можно, лишь принимая это, как период самой отчаянной борьбы... Только мы, такие, как я, так безумно любящие жизнь, ту борьбу, ту работу по постройке нового, много лучшего мира, только мы, прозревшие и увидевшие жизнь всю, как она есть, не можем уйти, пока останется хоть один шанс».

Вот она, философия советского человека, коммуниста, бойца, философия, обретшая плоть и кровь, ставшая дыханием, сердцебиением, той реальностью, которая способна воодушевлять людей, быть мощным аккумулятором душевной силы.

«В коммунизм из книжки верят средне», — заметил поэт. Человек, о котором идет речь, пришел не из книжки. Он рожден той самой действительностью, которую созидал, и имеет точную прописку на земле, в обществе, во времени. Нам дорога эта документальность, укрепляющая веру в него.

Письмо Островского к Давыдовой от 7 января 1926 года, выдержки из которого я привел, — последнее из сохранившихся к ней писем. Анна Павловна упоминает в своих воспоминаниях еще о двух письмах, полученных ею уже не из Новороссийска, а из Москвы. Судя по нескольким строчкам из второго письма, оно было послано в начале 1932 года, накануне появления в печати первой части «Как закалялась сталь».

На том их переписка оборвалась. Признаки ее угасания мы обнаруживаем задолго до того в письмах Островского. То он лишь просит передать привет Анне. То спрашивает,

работает ли еще Давыдова в Харьковском институте. То, наконец, в письме к Р. Б. Ляхович от 7 мая 1931 года из Москвы пишет: «Розочка, я прошу тебя об одном. В Харькове живет одна славная женщина — Давыдова Анна Павловна, моя приятельница, врач. Она прислала письмо. Пять лет не переписывались. Если найдешь возможным, зайди к ней и расскажи ей обо мне все, что она бы хотела знать. Писать ей мне трудно. Она славная дивчина».

Меня не могла не заинтересовать Анна Павловна Давыдова. Где она? Как сложилась ее дальнейшая жизнь? Почему оборвалась переписка с Островским? Возникли и другие вопросы, на которые могла ответить только она.

В аннотации к книжечке ее воспоминаний, на которую я уже ссылался, было указано, что Давыдова еще с 1952 года проживает в том самом курортном городе, где лечился Островский и откуда он посылал ей свои письма, — в Евпатории, что она — врач-ортопед санатория «Звездочка».

Я написал ей. И она откликнулась. Ее ответы многое уточняют и проясняют.

— Почему Островский называл вас, Анну, Галей?

— Потому что так звали меня в семье. Я ведь украинка, и по-украински мое имя не Анна, а Ганна, отсюда — Галя, Галка.

— Почему оборвалась ваша переписка?

— По-видимому, основная вина моя. После окончания института я вышла замуж, уехала из Харькова. Написала было Коле, но письмо мое к нему не дошло... А тут личные переживания, которые отодвинули от меня многое в жизни. Так мы и потеряли друг друга. В 1931 году я узнала его московский адрес и написала то самое письмо, о котором он упоминает в письме к Ляхович... И все же он, в память о нашей юношеской дружбе, написал мне уже

будучи слепым, поделился своей радостью в связи с печатанием «Как закалялась сталь», с гордостью сообщил, что вновь стал в ряды бойцов, нашел свое место в жизни. Это письмо меня так потрясло, что я долго не могла собраться с духом и ответить. Потом написала. Но ответа не получила. А в годы славы Островского считала нескромным напоминать о себе.

Анна Павловна помогла расшифровать и то самое место, на которое мы обратили внимание, в первом письме Островского к ней из Новороссийска: «Нас тем более связывает одно выступление...»

Какое выступление?

— Это касалось случая с одной сотрудницей нашего института, которая хотела, как говорится, «погреться» около крайне доверчивого и мягкого, несмотря на резкость и внешнюю суровость, Островского, выдавая свои сугубо меркантильные стремления за чистое чувство.

Мое «выступление» не было публичным выступлением. Просто, узнав о нечестном намерении этой женщины, я сказала о том Островскому. Сейчас не помню, как именно сказала, но изобличила ее и сумела ей помешать. Это было не так легко сделать, учитывая, что Коля проявлял крайнюю доверчивость к людям из рабочей среды.

Теперь еще кое-что о самой Давыдовой.

Островский писал, что Корчагин и Леденев (Феденев) были типичными представителями молодой и старой гвардии большевиков. А в одном из его писем к Давыдовой содержится нечто другое: «Хотя мы и двух мирков...» Не одного, а двух! Что это значит?

— Отец мой, Давыдов Павел Александрович, — из обнищавшей дворянской семьи, носившей когда-то двойную фамилию — Попелло-Давыдовы, — работал до революции в акцизном ведомстве, а мать была дочерью священника. Отсюда «и двух мирков».

...1941 год застал Давыдову в героическом Севастополе. Ее назначили ведущим хирургом эвакогоспиталя, вместе с которым она провела всю войну, будучи на Волховском, Ленинградском, Прибалтийском фронтах. День Победы она встретила в Северной группе войск, базировавшейся в Восточной Пруссии. В армии она вступила в партию. Была награждена боевыми орденами.

— Когда становилось особенно трудно, — признается она, — я вспоминала Николая и мысленно беседовала с другом, спрашивала совета: как мне быть, как поступить? И всегда, словно он был рядом со мной, я находила его ответ, его моральную поддержку. Так переменились наши роли. Если в прошлом, в годы лечения в Харьковском медико-механическом институте, Николай порой нуждался в моем внимании и поддержке, то теперь я испытывала необходимость в его помощи. Он учил меня стойкости и мужеству, как учил этому тысячи своих современников, как будет учить наших детей и внуков.

После окончания войны Анна Павловна возвратилась в родной Харьков. Затем работала в Киеве.

Пятнадцать лет назад она поселилась в Евпатории: заведовала медчастью костно-туберкулезного детского санатория, работала в «Звездочке». Она продолжает трудиться и теперь, став пенсионером: врач Евпаторийского филиала Симферопольского протезного завода.

...Анна Павловна Давыдова — «милая Галочка» — оставила, как мы могли в том убедиться, заметный след в жизни Николая Островского. Но дружба с ним не прошла бесследно и для нее.



НЕРАЗВЕРНУТАЯ СТРАНИЦА

Марта Лауринь... Марта Пуринь... Я не раз думал о ней, когда писал о людях, близких Островскому-Корчагину, о его соратниках и друзьях; в них тот же огонь революционного пламени, которым горел и он.

В печати как-то промелькнула заметка, что Марта Пуринь, известная по книге Островского как Марта Лауринь, жива и находится в Риге. Я очень тому обрадовался,

связался с автором заметки — рижским журналистом Я. Мотелем, и он любезно сообщил мне ее адрес. Тогда я обратился к ней с письмом, в котором просил, кроме всего прочего, прокомментировать строки Островского из его письма к А. П. Давыдовой: «Как ты узнала про Пуринь?.. Другой раз напишу. Во всяком случае, это неразвернутая страница в моей так рано сломленной жизни». Ответа не последовало. Я решил съездить в Ригу. Но выбрался туда, увы, слишком поздно: 25 февраля 1968 года Марта Пуринь умерла. Неразвернутую страницу приходится «развертывать» без ее помощи.

Восстановим в памяти то, что связано с Мартой Лауринь в книге «Как закалялась сталь» и с Мартой Пуринь в письмах Островского.

Павел Корчагин познакомился с Мартой Лауринь в евпаторийском санатории «Мойнаки». Его соседом по комнате оказался немецкий коммунист, плохо владевший русским языком. Им трудно было объясняться. А Марта владела немецким и служила им переводчицей. Она вошла в ту самую пятерку, которую санаторцы окрестили «Исполкомом Коминтерна». Цитирую:

«В уголке сада несколько качалок, стол из бамбука, две коляски. Здесь после лечебных процедур проводили весь день пятеро, прозванных больными «Исполкомом Коминтерна».

Островский писал о Марте: «маленькая латышка». С виду ей можно было дать лет восемнадцать-девятнадцать, и Корчагин считал ее комсомолкой. В действительности же ей было уже за тридцать и она — член партии с 1917 года. «В восемнадцатом году, — читаем мы, — белые приговорили ее к расстрелу, а вслед за тем она была обменена советским правительством вместе с другими товарищами. Сейчас она работала в «Правде» и одновременно кончала вуз».

Лауринь сдружилась с Корчагиным, и это вызвало даже шутливую реплику подпольщика-латыша Эглита: «Марточка, а как же бедный Озол в Москве? Нельзя же так!»

Марта часто приходила в комнату Корчагина. И, обращу на то внимание, всегда выступала заодно с Корчагиным.

«Вечером в комнате... Корчагина — клуб. Отсюда выходили все политические новости. Вечерами в комнате № 11 было шумно. Обычно Вайман пытался рассказать какой-нибудь сальный анекдот, до которых он был большой любитель, но сейчас попадал под двойной обстрел — Марты и Корчагина. Марта умела сразить его тонкой и язвительной насмешкой...»

Марту врачи посвятили в «трагическую будущность» Корчагина, и она одна знала о его муках. Написано: «Павлу удавалось скрывать свои страдания от окружающих, одна Марта догадывалась о них по необычной бледности его лица». Она тяжело переживала его состояние, и у нее не нашлось сил проститься с ним, когда он покидал санаторий. «Марта же исчезла, и Павел уехал, не простившись с ней».

(Сохранились фотографии, запечатлевшие пребывание Островского в санатории «Мойнаки». И на них неизменно — Пуринь.)

С Мартой Лауринь связано и другое важное место в той же седьмой главе второй части «Как закалялась сталь»: приезд Корчагина в Москву.

«...От Марты пришло письмо. Она звала его к себе погостить и отдохнуть. Павел и без того собирался ехать в Москву со смутной надеждой найти счастье во Всесоюзном Цека, то есть найти работу, не требующую движения. Но в Москве ему тоже предложили лечиться, обещали поместить в хорошую лечебницу. Он от этого отказался.

Незаметно пробежали девятнадцать дней, прожитых им на квартире Марты и ее подруги Нади Петерсон. Целые дни он оставался один. Марта и Надя уходили с утра и приходили вечером. Павел запоем читал — у Марты было много книг, а вечерами приходили подруги и кое-кто из друзей.

Из портового города приходили письма. Семья Кюцам звала его к себе. Жизнь стягивала свой тугой узел. Там ждали его помощи.

В одно утро Корчагина не стало в тихой квартире на Гусятниковом переулке.

Рядом с Мартой, запомним, названа ее подруга Надя Петерсон. Ей-то мы будем многим обязаны в дальнейшем.

Что же касается отношений Корчагина и Марты Лауринь, то на этом писатель ставит точку. Продолжения нет.

Но продолжают отношения Островского с реальной Мартой — не Лауринь, а Пуринь. Книжные строки подтверждаются, уточняются и дополняются письмами Островского.

В одном из них, от 28 августа 1926 года, отправленном из Харькова, он сообщает, что завтра в 3 часа дня отбывает в Москву. А в письме от 3 сентября, уже из Москвы в Харьков, просит пересылать его почту по адресу Марты: Мясницкие ворота, Гусятников переулок, 3/4, квартира 25.

В дальнейших письмах из Новороссийска мы находим отзвуки пережитого.

«В Москве же я отдохнул в первый раз за всю свою жизнь. Был в кругу родных ребят-друзей, набросился на книги и все новинки; жаль только, что было это коротко — всего 21 день». (В книге — девятнадцать).

Еще две, заслуживающие внимания выдержки из двух писем Островского: от 2 ноября 1926 года — к брату и от

18 декабря — к А. П. Давыдовой. Выдержку из письма Островского к А. П. Давыдовой, где имеются слова «не-развернутая страница», я уже приводил в самом начале. В письме же к брату — характеристика Марты.

«...Это славный друг, поддерживает в тяжелый период силой своей воли, старый большевик... Обо мне и моем положении она все знает, там (имеется в виду санаторий «Мойнаки». — С. Т.) ей врачи все рассказали о всей хворобе, она может тебе подробно написать, она истинная коммунистка, и ты, если бы ее знал, был бы ее первым другом».

И наконец, в письме от 30 декабря того же 1926 года из того же Новороссийска находим: «У меня была Марта, пробыла 4 дня, уехала — масса работы. Принесла с собой вихрь московской жизни — стройки и уехала».

С тех пор следы Марты навсегда теряются в письмах Островского.

Забыл ли он, однако, «маленькую латышку»? И вправе ли мы ее забыть?!

Прежде чем ответить на эти вопросы, познакомимся ближе со славным другом Островского-Корчагина, дополним известное неизвестным, тем, что мне удалось разузнать в Риге, и не только в Риге.

Марта Яновна Пуринь была на девять лет старше Островского: она родилась в 1895 году. В 1915 году окончила с золотой медалью гимназию и начала свою трудовую жизнь: работала учительницей и воспитательницей в детских учреждениях комитета по делам беженцев в Верро, Петрограде, Пскове, Риге. В сентябре 1917 года, когда Латвия была оккупирована кайзеровскими войсками, вступила в большевистскую партию. Вела агитацию, распространяла листовки, участвовала в демонстрациях, боролась за Советскую Латвию. Ее подпольная кличка: Страуме (поток, стремнина).

Летом 1918 года она перебралась в Петроград. А в 1919 году, когда готовилось наступление Юденича, ее направили со специальным заданием во вражеский тыл, в Эстонию.

Там ее задержали и, как латышку, выслали в Ригу. А через две недели, во время массовых арестов, она оказалась в центральной рижской тюрьме. В канун нового, 1920 года состоялся военный суд. Ей и четырем товарищам, обвиненным в подрывной деятельности, грозил расстрел. Среди этих четырех находилась и Надя Петерсон. Но их не расстреляли, а в середине июля 1920 года обменяли как заложников. (Мать же Марты убили без следствия и суда.)

Приведу один эпизод, характеризующий Марту тех лет. Для обмена должны были отправить на нашу границу девяносто заключенных. Их же оказалось в тюремном дворе не девяносто, а восемьдесят девять. Тяжело заболевшая после пыток Надя осталась в камере. Тогда Марта, сдружившаяся с Надей Петерсон в тюрьме, заявила решительный протест: «Заключенные не покинут тюремный двор без Петерсон». Ее горячо поддержали. И тюремщики вынуждены были вынести Петерсон на носилках. Марта не оставляла ее всю дорогу.

Здесь уместно кое-что сказать и о Наде Петерсон, которая была года на два моложе Марты. Ее родители и старший брат — участники революции 1905 года. Самостоятельная жизнь Нади началась в пятнадцать лет: работала курьером, потом учеником наборщика. В большевистскую партию вступила в январе 1919 года, но еще лет пять до того она активно участвовала в революционном движении; в родном ее городе Виндаве (нынешнем Вентспилсе), затем в Москве. С 1915 по февраль 1917 года она, вместе с мужем-большевиком К. В. Богдановым, находилась в Бутырьках. А в октябре 1917 года участво-

вала в боях за Советскую власть в Москве. Летом следующего, 1918 года ее направили вместе с другими латвийскими революционерами на подпольную работу в Латвию. Семь раз переходила линию фронта. Выдал провокатор. Ее подвергли пыткам, а затем приговорили, как уже известно, к расстрелу.

В центральной рижской тюрьме Богданову-Петерсон держали вначале, как опасную преступницу, в одиночной камере. В такой же сидела и Пуринь. Но корпус «одиночников» был поврежден бомбой, и узников уплотнили: Надю перевели к Марте. С тех пор они и подружились. И остались верны своей дружбе до последних дней. Это стоит подчеркнуть. Напомню, в этой связи, корчагинские слова: «...такие, как я, не предают своих друзей...» Слова эти характеризуют его и его друзей.

Марта и Надя жили вдвоем в Москве в Гусятниковом переулке. Бывший Гусятников, примыкавший к Мясницкой, называется теперь Большевицским, а Мясницкая — улицей Кирова. На углу — аптека, а за нею большой желтовато-зеленоватый дом с выступающими в три этажа (со второго до пятого) так называемыми «фонарями». Фасад выходит на Большевицкий переулок и закругляется в переулок Стопани, который назывался Фокиным. Это и есть дом № 3/1. В 25-ю квартиру вход со двора переулка Стопани¹. Двор — узкий, темный колодец, так строили в конце прошлого века. Пуринь и Богданова-Петерсон занимали две смежные комнаты в пятикомнатной квартире.

У них и провел Островский три недели, которые оста-

¹ В этом переулке, названном в честь одного из старых большевиков А. М. Стопани (1871—1932), находилось Всесоюзное общество старых большевиков. Позже — городской Дом пионеров. А теперь — Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской Бауманского района.

вили след в его жизни и нашли отражение в его книге и в его письмах.

Чем же можно дополнить известное? Кто поможет развернуть «неразвернутую страницу»?

В разное время и в разных газетах появились корреспонденции о Марте Пуринь и Николае Островском. Из них я узнал, например, что на московской квартире Марты Островский познакомился с латышским поэтом Карлисом Озолс-Приедниеком, которого он прозвал «Карлом великим», что подпольщик-латыш Эглит, шутливо напомнивший Марте об Озоле (Озолсе) — реально существовавшее лицо¹, что Островский надписал на своей фотографии: «Дорогому другу Марте — Николай». И т. д. и т. д.

Племянник Марты — Андрей Пуринь познакомил меня и с воспоминаниями самой Марты. В них тоже содержались крупницы нового, но они, не скрою, удивили меня своей сдержанностью и книжностью. Автор, казалось, запрещал себе вспоминать о том, что нас так интересует.

Кто же мог помочь развернуть «неразвернутую страницу»?

И тут Андрей Пуринь упомянул о старой и верной подруге Марты, которая навестила ее в дни болезни и была на ее похоронах, — о Надежде Георгиевне Богдановой-Петерсон. Он сообщил мне и ее адрес. Надежду Георгиевну Богданову-Петерсон, как я узнал, до того разыскали следопыты 5-й вечерней рижской школы, руководимые своим преподавателем А. Лосевым, бывавшим у Марты. Он вместе с ребятами навестил и Надежду Георгиевну.

Оставалось связаться с Богдановой-Петерсон. И именно

¹ Не был ли это Ян Христианович Эглит, член КПСС с 1912 г., работавший позже, в пятидесятые годы, в Москве, в Постпредстве Совета Министров Латвийской ССР, и умерший в 1958 г.?

она помогла восстановить картину тех далеких уже дней, прокомментировать известное и обогатить его неизвестным.

Марта, по свидетельству Надежды Георгиевны, после возвращения из Евпатории часто получала письма от Островского. Но появился он в Гусятниковом переулке неожиданно. Марта и она были крайне удивлены, когда утром, в последний день августа 1926 года, у них на квартире раздался звонок и они, открыв дверь, увидели Островского в сопровождении доставившего его извозчика. Островский еле держался на костылях. У извозчика же в одной руке был туго свернутый тюфячок, перехваченный веревкой, а в другой — старенький чемоданчик.

Это полностью совпадает с тем, что я прочел в воспоминаниях Марты: «...Каково было мое удивление, когда передо мной на площадке лестницы, опираясь на два костыля, стоял Николай, а сзади его — носильщик... По землистому цвету лица Николая, покрытому крупными каплями пота, было видно, как смертельно он устал, как измучился за дорогу».

Еще бы! Лифт не работал, и Островскому пришлось подниматься на самый верхний пятый этаж, где жила Марта, на костылях. Я был в этом доме и мысленно представил себе, как поднимался по лестнице больной Островский. Легче, вероятно, альпинисту достигнуть Эльбруса, нежели было ему преодолеть эти сто семнадцать ступеней.

Встретили его сердечно: накормили, напоили. Надя уступила Островскому свою непроходную комнату и переселилась к Марте.

Здесь Островский и провел дни, заполненные встречами с людьми и с книгами, мучительными думами и — мы об этом узнаем сейчас впервые — дневником! День за днем он обстоятельно записывал пережитое.

Островский к тому времени был уже инвалидом. Но своим поведением он заставлял людей забывать

об этом. Потому-то Пуринь и говорила А. Лосеву — автору корреспонденции «Он знал латышских коммунистов»:

— Иные авторы воспоминаний подолгу останавливаются на описании тяжких недугов писателя. Меня всегда поражало в Островском другое. Окрыленная мысль, полет мечты, сила воображения заменяли неподвижное тело.

Это — общее. А вот и частное, подтверждающее общее, обнаруженное уже в записи З. Златопольского.

Островский как-то сказал:

— Давай, Марта, пойдем погуляем пешком по городу.

Пуринь попыталась смягчить шутку:

— А врачи? Лучше найдем извозчика.

— Отказываюсь! — возразил Островский. — Меня такая прогулка не устраивает. — И уже улыбаясь: — Я ведь родился и вырос на Украине, а у нас принято не только посмотреть глазами, но и пощупать руками.

Тем не менее Островский вынужден был довольствоваться тем, что мог лишь посмотреть глазами. Скоро, как мы знаем, он будет лишен и этой возможности.

С кем же он здесь проводил время? Кто, кроме Марты и Нади, составил этот круг «родных ребят-друзей», о которых он упоминает в одном из писем?

Имя латышского поэта Карлиса Озолс-Приедниека уже называлось; он в ту пору руководил латышским отделом Наркомпроса РСФСР и было ему лет тридцать. С 1912 года, с шестнадцати лет, он активно участвовал в латвийском революционном движении, в 1918—1921 годах находился в рядах Красной Армии. Был членом ЦК Всероссийского Пролеткульта.

С ним часто приходили и его неизменные друзья — поэт Алвил Цеплис и прозаик Эдуард Миллер. Заглядывали и сосед по девятой квартире Криш Блум, сотрудник Московского уголовного розыска (МУРа), и работник ВЧК Виллис Апсатис.

Каждый из них рассказывал о своей жизни. Островский, в свою очередь, о своей. Надежда Георгиевна написала мне: «Когда я читала потом его книгу, то было такое впечатление, будто бы я ее уже до того читала и теперь перечитывала».

Днем Островский оставался один: Марта и Надя уходили рано на работу. Марта к тому же по вечерам училась. Да и общественные дела отнимали у нее много времени. Больше Марты дома бывала Надя. На ее попечении преимущественно и находился Островский.

Он делился с нею пережитым и любил слушать ее рассказы о прошлом. В особенности о том, что было связано в ее жизни с В. И. Лениным...

В январе 1921 года Н. Богданова-Петерсон работала сотрудником особых поручений при ВЧК. Как-то поздним вечером ей вручили секретный пакет от Ф. Э. Дзержинского, который нужно было доставить в Кремль лично Владимиру Ильичу. Стояли лютые морозы. А она была весьма легко одета. По дороге до того замерзла, что и слова не могла выговорить, когда пришла на квартиру к Ленину. Владимир Ильич и Надежда Константиновна напоили ее чаем, расспросили о житье-бытье. Ушла она, согретая их теплом.

Рассказывала Островскому и о том, как выступал Ленин в 1918 году на Красной площади в день Первого мая. И о том, как провожали Владимира Ильича в последний путь: она входила в рабочую делегацию Трехгорки, которая встречала гроб с телом Ильича на Павелецком вокзале. Островский расспрашивал, как Москва прощалась с Лениным, интересовался подробностями. Приходилось припоминать все, чему Надя была очевидцем.

Но большую часть дня Островский, как было уже замечено, оставался один. Что он делал тогда?

Читал, читал и читал. Помните его слова: «...набро-

сился на книги и все новинки...» Здесь книги были в почете. Островский читал их запоем.

Чьи же произведения он читал? Я задал Надежде Георгиевне и этот вопрос. Она ответила: книги Л. Толстого, Достоевского, Горького, Эптона Синклера, Джека Лондона. Увлекался поэзией Пушкина, Блока, Маяковского.

— У него была прекрасная память, и он делился с нами впечатлениями о прочитанном. Иногда читал на память полюбоившиеся стихи.

Я попросил уточнить: не помнит ли она, какие именно произведения прочел он тогда?

— «Войну и мир». И был в восторге. Декламировал «Двенадцать» Блока...

Островский тогда не только много читал, но и писал свой дневник. Это была, по свидетельству Надежды Георгиевны, толстая общая тетрадь, которую он, уезжая, оставил Марте, сказав, что разрешает ее прочесть только после своей смерти.

Но Надежда Георгиевна, которая узнала о запрете Островского значительно позже, заглянула как-то в его тетрадь.

Островский делился в дневнике всем тем, что принес ему прожитый день: встречи, беседы, книги, тревожные мысли о своем настоящем и будущем. И вера в будущее! Он верил в то, что его интеллект победит недуг, даст возможность стать полезным членом общества. Много места в дневнике занимала, конечно, Марта, в нем развертывалась «неразвернутая страница».

Надежда Георгиевна вспоминает:

— Бывало, Марта задержится, заночует у знакомых, он переживает, волнуется. Однажды я уложила его спать, легла и сама. Но он меня разбудил: «Надя, уже два часа, а Марты нет. Не случилось ли что с нею?» Я пыталась

успокоить его, дала валерианку. Не помогло. Всю ночь он провел без сна.

Какой была в ту пору Марта?

В книге Островского отмечено, что «маленькая латышка» выглядела значительно моложе своих лет, была кареглазой. И еще: она умела, как помним, срезать Ваймана «тонкой и язвительной насмешкой». Хочется, естественно, знать о ней побольше. И Надежда Георгиевна помогает: «Была она очень подвижной, быстрой». (Не зря ее прозвали «Страуме»!)

Человека, говорят, можно узнать по делам и по глазам. Я вглядываюсь в фотографию: глубокие, зоркие, умные и озорные глаза. «Она была прямой, честной», — замечает Надежда Георгиевна. Прямотой и честностью светится ее лицо: высокий и чистый лоб, язвительные губы, волевой подбородок.

А вот и неожиданное ко всему дополнение, присланное мне нынешней подругой Надежды Георгиевны — Зинаидой Флоровной Белошицкой, узнавшей, что я собираю материал о Марте. Оно, это дополнение, относится к более поздним временам, но несомненно представляет ценность и легко может быть спроецировано в прошлое.

«До 1954 года, — написала она, — я знала Марту только по рассказам Нади и по ее письмам. В 1954 мы вместе с Надей приехали к Марте, в Ригу. Ей было 59 лет, но выглядела она не больше, чем на 50. Очень живая, радужная. Обращали на себя внимание глубоко сидящие глаза, очень умные и приятные. Она любила жизнь в разных ее проявлениях, любила музыку, живопись, литературу, природу. Была очень эстетична; все вокруг нее должно было быть красивым. Большая часть ее комнаты была занята книгами. Все новое она воспринимала с большим интересом. Такой я знала Марту».

Такой, по всей видимости, знал ее и Островский.

Дни в Гусятниковом переулке пролетели быстро. В воскресенье он приехал и через три недели, в воскресенье же, его проводили в Новороссийск.

В Москве было уже по-осеннему сыро и холодно. На Островском же — старенькое демисезонное пальтишко. В дорогу снабдили его одеялом. «Когда он уезжал, я закутала ему ноги теплым одеялом, и так он поехал, поскольку в вагоне тоже было холодно», — сообщила Надежда Георгиевна.

С тяжелым сердцем покидал Островский Москву. Он просил Марту навестить его в зимние каникулы. Она пообещала и сдержала свое слово.

Марта, заботясь о том, чтобы Островский не оторвался от партийно-комсомольской жизни, ходила в райком партии и в райком комсомола. Островскому поручили тогда вести кружок текущей политики, состоящий из комсомольцев, переданных в партию.

После ее отъезда из Новороссийска связь оборвалась.

Шли годы. Островский и Марта ничем не напоминали о себе друг другу. Не напоминали и тогда, когда вышла «Как закалялась сталь» и ее автора наградили орденом Ленина.

Но вот однажды, это было в праздничный день 7 ноября 1936 года, на квартире 25, в Гусятниковом переулке, раздался телефонный звонок и какой-то мужчина звонким, порывистым голосом попросил к телефону Марту. Пуринь не вернулась еще с октябрьской демонстрации и вместо нее трубку взяла Надя.

— Марты нет дома, — ответила она.

— Это ты, Надя, — сразу же узнал ее Островский и назвал себя: — Говорит Коля Островский.

Женщина была ошеломлена и молчала. Он же властно произнес:

— В пять часов у вашего подъезда будет машина.

Приезжайте вместе с Мартой ко мне. Жду.— И опустил трубку.

...Так они и встретились спустя десять лет.

— Десять лет назад я был вашим гостем,— сказал Островский, когда они поздоровались и расцеловались,— а теперь — вы мои дорогие гости.

Он распорядился придвинуть к своей кровати столик, накрыть его. Подали и бутылку вина. Надя провозгласила традиционный тост: «За встречу!» Островский был очень взволнован.

Надя не выдержала и, отойдя в сторонку, беззвучно всплакнула. Островский понял ее состояние, позвал и сказал:

— Герои не плачут.

Вспоминали, конечно, дни в Гусятниковом.

— Я было написал о том куда больше, чем сохранилось в книге,— заметил Островский,— но получилось уж очень сентиментально. Марта не одобрила бы.

Поинтересовался:

— Не вышла ли Марта замуж? — И, услышав отрицательный ответ, улыбнулся.

Стало темнеть. Надя поднялась и зажгла свет. Островский попросил выключить его:

— Так лучше.

Когда наступило время прощаться, он велел достать из книжного шкафа два экземпляра «Как закалялась сталь», вложить в его руку карандаш и сделал на книгах дарственные надписи. Потом неожиданно произнес:

— Всему конец. Точка. Жаль только, что не успел закончить «Рожденные бурей».

Надя первой покинула его комнату, а Марта задержалась. По дороге домой она призналась подруге, что Островский попросил принести хранившийся у нее дневник.

Через несколько дней Марта снова навестила Островского. Он захотел, чтобы она прочла ему все его давние записи. А прослушав, распорядился их уничтожить.

Вскоре он, как известно, умер. Марта стояла в почетном карауле у его гроба.

Я задал Надежде Георгиевне несколько вопросов и среди них:

Читала ли она воспоминания Марты об Островском? Почему Марта обошла в них то, что связано с «неразвернутой страницей»? Знакома ли она с письмами Островского к Марте?

Надежда Георгиевна ответила, что воспоминаний Марты она не читала; Марта их ей не показывала, говорила лишь, что напишет весьма бегло и не обо всем. В 1967 году Надежда Георгиевна приезжала в Ригу к своей смертельно больной подруге. Та сказала, что воспоминания уже написаны. Но разве до них тогда было? До того она имела возможность не раз беседовать с Мартой о ее воспоминаниях. Марта относилась к «неразвернутой странице», как к некоей «запретной зоне».

Надежда Георгиевна написала мне в этой связи: «Марта приехала к нам в 1964 г. из Цхалтубо, предварительно прислав книги об Островском. Я тогда говорила Марте, что воспоминания не пишутся по книгам, а что она должна написать о том, что было в жизни, на что Марта возразила, что она не может писать вразрез с тем, что уже написано не ею». Письма Островского к Марте она читала. «Они были полны признаний в любви и страданий».

Ах, если бы сохранились дневник и письма! Как помогли бы они! Но утешим себя тем, что и без них перед нами все же развернулась «неразвернутая страница» так рано сломленной и несмотря ни на что торжествующей жизни.

1969 г.



ПЕРВЫЙ РЕДАКТОР

Обычно, когда говорят о редакторе, то имеют в виду человека, которому предстоит подготовить рукопись к печати. На сей раз речь идет о необычном редакторе: рукописи еще не было, но именно он помог ей родиться, помог автору найти путь к своей книге.

Я имею в виду Тараса Кострова.

Когда в 1932 году в апрельском номере журнала «Моло-

дая гвардия» начала печататься «Как закалялась сталь», ее предварила страница «От автора», разделенная на две половинки: в одной из них читатель посвящался в творческую историю произведения, а в другой — знакомился с биографией писателя. В самом начале Островский считал нужным сделать весьма важное признание:

«Когда я принялся писать мою книгу, я думал написать ее в форме воспоминаний, записей целого ряда фактов. Но встреча с товарищем Костровым, в бытность его редактором «Молодой гвардии», который предложил написать в форме повести или романа историю рабочих подростков и юношей, их детство, труд и затем участие в борьбе своего класса, изменили это намерение».

Здесь-то и была упомянута фамилия Кострова, того самого Тараса Кострова, которому Маяковский адресовал свое знаменитое письмо из Парижа «о сущности любви», который, до того как стать редактором «Молодой гвардии», был редактором «Комсомольской правды», а еще до этого — ответственным партийным работником на Украине.

До сих пор всячески популяризируются другие редакторы Островского. А между тем Тарасу Кострову принадлежит огромная заслуга: он был тем человеком, который решительно *изменил начальный замысел автора*. Ему мы обязаны тем, что Островский написал не обычные мемуары, а *художественное произведение*. Это Костров подсказал ему мысль о повести или романе. Она пришлась Островскому по душе. И он уже не мог забыть встречи с Костровым. Да и можно ли было ее забыть?!

Костров был только на три года старше Островского. Почти ровесники! Ему не исполнилось и тридцати, когда он умер. Мало было прожито, но сколько пережито!

Тарас Костров (Сергей Александрович Мартыновский) родился в 1901 году в читинской тюрьме. Отец его — народоволец, мать — социал-демократка (Мартыновская).

Когда произошла Октябрьская революция, мальчик учился в 5-м классе одесской гимназии. Он активно участвует в деятельности союза рабочей молодежи.

Быстро приходит зрелость. Уже в 1919 году, восемнадцатилетним юношей, Костров вступает в Коммунистическую партию. Он работает в редакции одесского «Коммуниста» и в партийном комитете.

Деникинцы захватывают Одессу. Костров остается в подполье: он редактор газеты, которая распространяется в трех с половиной тысячах экземпляров, и одновременно секретарь подпольного райкома.

Ему удается подкупить деникинскую тюремную администрацию и освободить группу большевиков, приговоренных к смерти. Он возглавляет восстание в районе Пересыпи.

Отважный подпольщик становится вскоре начальником политотдела одного из армейских подразделений. Его избирают членом Харьковского губкома партии.

После X съезда партии Костров едет в Донбасс и работает секретарем луганского партийного комитета. В 1922 году он редактирует в Киеве «Пролетарскую правду». Потом работает членом редколлегии всеукраинской партийной газеты «Коммунист».

В 1925 году, после XIV партийного съезда, Кострова назначают ответственным редактором «Комсомольской правды» и избирают в ЦК ВЛКСМ. А в 1928 году он переходит работать в «Молодую гвардию». Последняя его должность — заместитель редактора журнала «За рубежом», который возглавлял А. М. Горький.

Умер Костров 18 сентября 1930 года в Гагре.

Тарас Костров был ярчайшим представителем молодого поколения революции. Он сочетал в себе незаурядный талант организатора с блестящим талантом публициста, литературного критика, оратора. В статьях, посвященных

его памяти, отмечалось, что человек этот был заряжен огромными запасами революционной энергии. Он ненавидел и презирал всякое угодничество и молчалинство, всякие сделки с политической совестью. «Он был редким образцом пролетарского революционера, который сочетал лучшие традиции прошлых революционных поколений и многие черты социалистического человека будущего».

С этим-то человеком и посчастливилось встретиться Николаю Островскому в пору, когда он только «принялся писать» свою «Как закалялась сталь». Тарас Костров стоял у самых ее истоков. Он был тем человеком, который оказал молодому писателю неоценимую помощь.

Когда и где они могли встретиться? Мы, к сожалению, не располагаем никакими другими свидетельствами, кроме того, что написал сам Островский. Но попытаемся несколько прояснить им написанное.

Обратимся прежде всего к старым комплектам журнала «Молодая гвардия».

...1928 год. № 9 (сентябрь). Смотрим подпись ответственного редактора: С. И. Гусев. № 10 (октябрь). Появляется новая подпись: Т. Костров¹. Она стоит до середины августа 1929 года. № 15 (август)² редактировался еще Тарасом Костровым. Это был последний номер «Молодой гвардии», который он подписал.

Костров, как видим, был редактором «Молодой гвардии» недолго. Но именно тогда с ним и встретился Островский. И именно тогда он принялся писать свою книгу.

Установление этого исходного историко-литературного факта может предостеречь нас от одного распространенного заблуждения.

¹ Костров был назначен редактором журнала «Молодая гвардия» в июле 1928 г.

² Журнал выходил тогда два раза в месяц.

Если верить автору примечаний к тому писем Н. Островского, вышедшему в 1968 году (издательство «Молодая гвардия»), то первое авторское упоминание о книге «Как закалялась сталь» относится лишь к такой поздней дате, как *11 сентября 1930 года*, когда Островский написал:

«У меня есть план, имеющий целью наполнить жизнь содержанием, необходимым для оправдания самой жизни.

Я о нем сейчас писать не буду, поскольку это проект. Скажу пока кратко: это касается меня, литературы, издательства «Молодая гвардия».

Но ведь еще за три года до того, в письме от 22 октября 1927 года, имеются такие строки: «Собираюсь писать «историческо-лирическо-героическую повесть», а если отбросить шутку, то всерьез хочу писать, не знаю, что только будет. Буквально день и ночь читаю».

А через несколько месяцев это «собираюсь писать» и «хочу писать» переходит в «пишу немного» (см. письмо от 5 марта 1928 года).

Вспомним и письмо Островского к А. П. Давыдовой еще от 13 сентября 1925 года из Славянска, выдержка из которого приведена в очерке «Николай Островский — Анна Давыдова». Ведь уже там сказано: «Читаю, *пишу*». Оттуда уже тянется нить к его будущей книге.

Автор примечаний полагает, что в письме от 22 октября 1927 года Островский имел в виду не «Как закалялась сталь», а какую-то отдельную повесть о бригаде Котовского, над которой он якобы работал. Более того: «В начале 1928 года рукопись была послана боевым друзьям-котовцам в Одессу. Друзья прочитали и с отзывом вернули Островскому; в пути рукопись (единственный экземпляр) была безвозвратно утеряна».

Таким образом, «собираюсь писать» и «хочу писать» превратилось по воле автора примечания из желания в нечто осуществленное, в реальность.

Но в том самом письме Островского, о котором упоминалось в самом начале, которое предварило журнальную публикацию, черным по белому сказано: *«Никогда раньше не писал»*. О какой же самостоятельной повести о бригаде Котовского может идти речь? Не о той ли, какую писал Корчагин в *«Как закалялась сталь»*? Называлась она *«Рожденные бурей»*. Напомню:

«Три главы задуманной книги были закончены. Павел послал их в Одессу старым котовцам для оценки и скоро получил от них письмо с положительными отзывами, но рукопись на обратном пути была потеряна почтой».

Как же понимать слова из письма от 11 сентября 1930 года:

«У меня есть план, имеющий целью наполнить жизнь содержанием...»?

После встречи с Костровым Островский *утвердился* в мысли писать не мемуары, а художественное произведение. Все встало на свое место...

Где могла произойти эта встреча?

Островский в то время находился в Сочи. Костров же лет восемь тяжело болел астмой и ездил на Кавказ лечиться. Их встреча, надо полагать, и произошла в Сочи.

Мы не знаем, кто помог будущему писателю связаться с редактором *«Молодой гвардии»*, кто привел Кострова к Островскому. Не знаем всего содержания их беседы. Но очевидно, что именно эта встреча все предопределила в творческом замысле Островского. Умом и сердцем воспринял он совет Кострова. Он не забыл безвременно умершего редактора *«Молодой гвардии»* и спустя три-четыре года в письме *«От автора»* вспомнил своего первого необычного редактора и тем самым отдал ему заслуженную дань уважения и признательности.



ГАЛЯ АЛЕКСЕЕВА ИЗ «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»

В Москве, рядом с Кропоткинской улицей, есть тихий, зеленый, уютный переулок. В нем разместилось несколько посольств. Еще лет тридцать назад переулок этот назывался Мертвым. К нему примыкают Большой Могильцевский и Малый Могильцевский. Здесь была и церковь «Успения на могилицах». Местные старожилы утверждают, что некогда в этих местах свирепствовала холера и улицы

обезлюдели, стали мертвыми. В справочнике П. В. Сытина о происхождении названий московских улиц есть другое, более «прозаическое» объяснение: в XVIII веке существовала домовладелица Мертвого. От нее и пошло название переулка.

С 1936 года, после смерти Николая Островского, Мертвый переулок стал называться переулком Николая Островского. На четырехэтажном доме № 12 (в 30-х годах он был двухэтажным) — мемориальная доска с барельефом писателя. Здесь жил он с конца 1930 по июнь 1932 года и здесь написал первую часть романа «Как закалялась сталь»¹. Мемориальная доска прикреплена к стене первого этажа, а на втором, в квартире № 2, находилась угловая его комната: одно ее окно выходит на улицу, где растут старые клены, второе — во двор.

Не раз уже я приходил сюда, чтобы зримо представить себе условия жизни Островского. Они были тогда отнюдь не такими, как позже, в Москве, на улице Горького, или в Сочи. Островский занимал здесь, в большой коммунальной квартире, комнату в семнадцать квадратных метров, точнее, половину комнаты, перегородженной теперь на две части и потому ставшей узкой и длинной. В ней жила его семья: мать, жена, сестра. Наезжали и родственники. Негде было буквально повернуться. Кровать Ольги Осиповны — матери Островского — пришлось поставить в примыкающей к комнате передней и занавесить. В пись-

¹ В книге П. В. Сытина «Из истории московских улиц», вышедшей уже несколькими изданиями, есть упоминание о второй московской квартире Н. Островского, на улице Горького, где он жил по нескольку месяцев в 1935—1936 гг., когда работал над романом «Рожденные бурей», и не упомянута, к сожалению, его первая московская квартира — комната в Мертвом переулке. Здесь он жил значительно дольше, и с этой квартирой связано начало его творческой биографии.

мах Островского читаем: «Работаю... в отвратительных условиях. Покоя почти нет». И еще: «Москва губит сырой до края комнатсй». В романе же «Как закалялась сталь» это выглядит несколько иначе: «Скромная комната в тихом переулке Кропоткинской улицы показалась верхом роскоши. И часто Павел, просыпаясь ночью, не верил, что лазарет остался где-то позади».

Сейчас я пришел в этот дом не только для того, чтобы снова заглянуть в столь знакомую мне комнату Островского. Давно хотелось написать о милом и добром друге, о котором он писал с неизменной нежностью (в романе и в письмах) и который в силу своей скромности до сих пор остается в тени. Я имею в виду Галину Мартыновну Алексееву, ту самую Галя Алексееву, с которой мы впервые познакомились, читая последнюю страницу «Как закалялась сталь». Напомню:

«В одной с ним (с Корчагиным.— *С. Т.*) квартире жила семья Алексеевых. Старший сын, Александр, работал секретарем одного из городских райкомов комсомола. У него была восемнадцатилетняя сестра Галя, кончившая фабзауч. Галя была жизнерадостной девушкой. Павел поручил матери поговорить с ней, не согласится ли она ему помочь в качестве секретаря. Галя с большой охотой согласилась. Она пришла, улыбающаяся и приветливая, и, узнав, что Павел пишет повесть, сказала:

— Я с удовольствием буду вам помогать, товарищ Корчагин. Это ведь не то, что писать для отца циркуляры о поддержании в квартирах чистоты¹.

С этого дня дела литературные двинулись вперед с удвоенной скоростью. Галя своим живейшим участием

¹ Отец Алексеевой был членом общественной комиссии при домоуправлении. Галя часто по его просьбе писала разные объявления.

и сочувствием помогала его работе. Тихо шуршал ее карандаш по бумаге — и то, что ей особенно нравилось, она перечитывала по нескольку раз, искренне радуясь успеху. В доме она была почти единственным человеком, который верил в работу Павла, остальным казалось, что ничего не получится и он только старается чем-нибудь заполнить свое вынужденное бездействие.

Приходила Галя, шуршал по бумаге ее карандаш, и вырастали ряды слов о незабываемом прошлом. В те минуты, когда Павел задумывался, подпадал под власть воспоминаний, Галя наблюдала, как вздрагивают его ресницы, как меняются его глаза, отражая смену мыслей, и как-то не верилось, что он не видит: ведь в чистых, без пятнышка, зрачках была жизнь.

По окончании работы она читала написанное за день и видела, как он хмурится, чутко вслушиваясь.

— Чего вы хмуритесь, товарищ Корчагин? Ведь написано хорошо!

— Нет, Галя, плохо.

После неудачных страниц начинал писать сам. Скопанный узкой полоской транспаранта, иногда не выдерживал — бросал. И тогда в безграничной ярости на жизнь, отнявшую у него глаза, ломал карандаши, а на прикушенных губах выступали капельки крови.

Дописала последняя глава. Несколько дней Галя читала Корчагину повесть».

По этим нескольким выдержкам из книги «Как закалялась сталь» можно представить себе, кем была для Николая Островского Галя Алексеева.

Это можно представить и по его письмам к ней.

В первом Собрании сочинений Н. Островского (1955—1956) их было опубликовано семь. Во втором издании (1967—1968) — девять. Они заслуживают того, чтобы их обозреть.

В своей книге «Жизнь и творчество Николая Островского» («Художественная литература», 1964) я уже обращал внимание на то, что Островский, находясь в 1932 году в сочинском санатории, отправляет в Москву одно-единственное письмо, и адресовано оно... Гале Алексеевой. Он делится с нею сокровенным: «Грусть заполнила всего. Море напомнило о прошлом, о разгроме всей моей личной жизни. И я не борюсь с грустью, она служит мне. Я пишу сейчас печальные страницы второго тома». И там же: «Я буду тебе писать, не забывай и меня».

Он рад, когда получает ответное письмо.

«Если бы ты была здесь, я убежден, что 2-й том был бы написан к январю 33 г. ...»

В новом письме Островского из Сочи — деловая просьба и опять же: «Сам пишу. Трудно это. Нет твоих рученок — быстро бы рождались страницы».

Он напряженно работает. «Моя жизнь — это работа над второй книгой,— читаем мы в письме к Гале Алексеевой, посланном Островским в день пятнадцатой годовщины Октября.— Перешел на «ночную смену», засыпаю с рассветом. Ночью тихо, ни звука. Бегут, как в кинолентке, события, и рисуются образы и картины. Павка Корчагин уже разгромил, глупый, свое чувство к Рите и, посланный на стройку дороги, ведет отчаянную борьбу за дрова, в метели, в снегу. Злобно воет остервенелый ветер, кидает в лицо комья снега, а вокруг бродит неслышным шагом банда Орлика».

И там же — постскрипtum:

«Не хватает второй книге двух [твоих] рученок».

Следующее письмо из Сочи — от 16 января нового 1933 года. Островский посвящает «милую Галочку» во все

свои дела. И там — чистосердечное признание: «Я не хочу рассказывать о своих сочинских секретарях, все они не стоят одной твоей ручонки... Что писать и как писать, им безразлично, как все это не похоже на наше с тобой сотрудничество. Мне теперь ясна истина — мой секретарь должен быть моим другом, а не чужим человеком. Иначе говоря, нужен кто-то похожий на Галю Алексееву».

Нет нужды комментировать эти строки: они говорят за себя куда больше, нежели скажешь о них.

Последуем за Островским дальше.

Он, как мы помним, был убежден, что с помощью Гали мог бы закончить вторую часть «Как закалялась сталь» к январю. Сейчас же уже 18 мая, и он сообщает ей, что расходует последние силы, чтобы завершить работу. Пишется заключительная глава. И на этот раз он не может с благодарностью не вспомнить ее «золотые руки». И в том же письме: «В последней главе будет несколько слов и о Гале Алексеевой, помогавшей Корчагину создавать его «Сталь».

Слова эти уже известны; они заняли целую книжную страницу.

Примечательно, что Островский здесь отождествил себя с Корчагиным.

Он сделал это и в следующем письме от 6 июля: «...во второй книге есть страница, посвященная Гале Алексеевой, славному секретарю тов. Корчагина...»

Островский мечтает возвратиться в Москву и, конечно же, поработать с Галей.

Мы познакомились уже с семью письмами Островского. Осталось еще два: от 5 октября и от 25 августа 1934 года. Их стиль не изменился.

Галя Алексеева живет и сейчас там же, где сорок с лишним лет назад, когда помогала Николаю Островскому создавать его «Сталь».

...Вхожу во двор дома № 12, открываю первую дверь справа и поднимаюсь на второй этаж. Стандартные железные почтовые ящики, окрашенные в разные цвета. На синем — «Алексеевы». За входной дверью в квартиру — просторная передняя, та самая, в которой стояла кровать Ольги Осиповны. Налево — большой коридор. Он ведет к комнатам Алексеевых и на кухню.

В то время, когда здесь жил Островский, семья Алексеевых состояла из девяти человек. Отец Гали был поваром, а один из братьев, Александр, — секретарем райкома комсомола. Галя окончила не фабзауч, а обычную семилетку и работала в клубе театральных работников (позднее Клуб мастеров искусств) счетоводом.

Как она выглядела? Среднего роста, худенькая, подвижная. Синеватые глаза. Светлые, стриженные волосы. Мягкий, округлый подбородок. И вся озарена той естественной красотой, которую дарит юность. Такой я представил ее себе по фотографии тех лет. Да многое прошлое проглядывает в ней и сегодня: она сумела его сохранить.

Передо мной письмо Дмитрия Хоруженко — новороссийского друга Николая Островского, бывшего заведующего библиотекой водников, из которой брал книги Островский. Письмо датировано 2 июня 1932 года и адресовано Гале Алексеевой. Оно ценно тем, что в нем приводятся неизвестные до сих пор слова Островского об Алексеевой. Оно ценно и тем, что Хоруженко верно почувствовал, кем стала Алексеева для Островского.

«...у Вас должно быть доброе сердце... Я имею Вашу краткую характеристику, данную мне Колей. Вот она буквально:

«19 лет, веселая, развитая дивчина, Галя Алексеева».

...А разве может быть такая дивчина не доброй?.. Я многим интересуюсь, что связано... с семьей Островских, их жизнью, бытом и деятельностью. И конечно, я не пред-

ставляю, чтобы Вы, носящая другую фамилию, не были бы активным членом этой семьи...»

...И вот мы сидим теперь друг против друга, и Галина Мартыповна делится своими воспоминаниями о тех днях.

— С двух часов я была на работе, возвращалась поздно и вставала поздно. Потому-то о нашем новом жилье узнала не сразу. Да и жил он как-то замкнуто. Среди жильцов нашего дома было в то время несколько «бывших». Их уплотняли. К одному из них и вселили Островского. С ним встречался мой брат — Александр, который работал секретарем райкома комсомола. Он сказал мне об Островском: «Совсем никуда парень. На локти и то не может приподняться. Но какой активный! Все знает и обо всем имеет свое мнение». Слышала я и от мамы: «Живут тесно и, по всему видать, очень нуждаются». А однажды, это было летом 1931 года, пришла Ольга Осиповна и попросила меня зайти к сыну.

...Кровать Островского стояла у двери, слева. Девушка остановилась на пороге, пораженная увиденным. Островский, обернутый до пояса байковым одеялом, в теплой кофте, лежал высоко на подушках. Он был худ. Руки, протянутые вдоль туловища, держали палочку, конец которой был обернут марлей. Темные пышные волосы. Большой открытый лоб. Неподвижно глядящие вперед глаза. У левого плеча — радионаушники.

— Входите смелее! — подбодрил он ее. — Здесь не больница.

Он протянул ей руку (его руки в то время еще двигались до локтей) и предложил присесть. Потом доверительно, как уже старой знакомой, поведал о своей работе.

— Я продумал всю книгу до мелочей и отчетливо представляю, о чем нужно писать. А вот писать-то мне самому трудно, почти невозможно.

Возле него, на маленьком столике, лежала картонная

папка, на верхней крышке которой были вырезаны прорезы, несколько самодельных блокнотов и стопка листков. Папка была тем самым транспарантом, с помощью которого Островский начал писать «Как закалялась сталь». А в блокнотах и листках, исписанных разными почерками, находились главы его будущей книги.

Он попросил посмотреть их.

— Нелепый закон клеток заставил меня отступить, — сказал он с горечью. — Тело приковано к постели, руки потеряли силу, глаза потухли. Я инвалид. Но, черт возьми, мой мозг здоров на все сто процентов. И разве я не могу работать?! Итак, Галочка, вы мне поможете? Предупреждаю, книга большая и дел по горло.

И угадав, должно быть, ее готовность, предложил:

— Если вас не пугают трудности, то давайте начнем сегодня же, сейчас же. Не удивляйтесь и не думайте, что я сумасшедший. Некоторые считают, что я занят бесплодным делом, убиваю свободное время. Это неверно. Просто я чертовски настойчивый парень.

Островский по-мальчишески озорно улыбнулся, обнажив белые крепкие зубы, и вытащил из-под подушки орфографический словарь.

— А вот и вся моя вспомогательная литература, — пошутил он.

(Галина Мартыновна упомянула еще о сборнике «Война с белополяками», которым пользовался Островский как справочником, когда позже диктовал восьмую главу — о прорыве Красной Армией польского фронта.)

Девушка ознакомилась с написанным. В листках, лежавших сверху, было начало шестой главы. Островский попросил прочесть их вслух. Он безошибочно подсказывал слова, которые она не разбирала, или говорил, сколько нужно перевернуть страничек, чтобы отыскать фразу, которую он дописал позже.

Потом она взяла чистые странички, карандаш, и он начал диктовать.

Чем дольше Островский диктовал, тем больше Галя убеждалась в том, что он действительно все продумал до мелочей и ясно представлял себе своих героев, то, что с ними происходило.

...Ее свободная левая рука находилась в его руке. И он, диктуя, все время непроизвольно сжимал ее.

В один из дней их работы Островский спросил своего пятилетнего племянника: «Как выглядит тетя Галя?» Тот принялся рисовать ее внешность: «Глаза голубые, а волосы светлые, а шея тонкая... Тетя Галя хорошая!» — весело заключил он. Островский рассмеялся: «Такой микроб, а уже разбирается». И тут же он обратился к Гале: «Помоги мне увидеть тебя». Она наклонилась. Он осторожно провел ладонью по ее голове и лицу. «Знаешь, — сказал он, — у меня такое ощущение, будто я увидел тебя. Хорошо, что еще такое «зрение» осталось».

Галя Алексеева в этой связи рассказала:

— Мы работали уже над девятой главой. Николай диктовал записи, касающиеся Корчагина, которые делала в своей тетради Нина Владимировна — госпитальный врач. И я услышала:

«Вчера он спросил: «Что это у вас, доктор, на руке черные пятна?» Я смолчала, что это следы его пальцев, которыми он до боли сжимал мою руку во время бреда».

Я пристально посмотрела на Островского. Он почувствовал мой взгляд, улыбнулся и пожал мою руку. «Видишь, — сказал он, — ей досталось еще больше, чем тебе. Не сердись, мне так гораздо легче работать».

Меня, естественно, интересует процесс творческой работы. Я немало знаю о нем, но мне дорого каждое новое свидетельство.

Галина Мартыновна показывает свои давнишние записи. И я, с ее разрешения, выписываю страницу.

«Десять часов утра. В комнате тихо. Ольга Осиповна делает что-то на кухне. Мы хорошо работаем. Один за другим ложатся исписанные листки. Увлекаясь, Николай ускоряет рассказ. Я стараюсь не пропустить ни одного слова. Мельком взглядываю на него: лицо подвижно, глаза живые, лучистые. В часы труда, особенно плодотворного труда, кажется, что болезнь оставила Островского. Но стоит кому-нибудь войти в комнату, и все нарушается. Он начинает с трудом подбирать слова, с трудом восстанавливает последовательность событий, возвращаясь к уже написанному. Лоб покрывается капельками пота. Он просит пить. Выглядит он тогда поистине больным.

Но вот снова водворяется тишина. Николай диктует внятно и выразительно, почти без пауз. Он весь во власти событий, образов.

Я с беспокойством поглядываю на будильник: второй час. В два я должна быть на работе. Опаздываю. Этого никогда не бывало со мной. Один раз, думаю, можно. Нельзя же оборвать Островского, сказать, что пора кончать работу, когда сейчас ему дорога буквально каждая минута. Он свободно, легко сегодня диктует. Но я-то знаю, чего стоит ему эта кажущаяся легкость: значит, ночью он не спал, по несколько раз мысленно воспроизводил текст, готовясь к сегодняшней работе. «Как бы ни было,— решаю я,— нужно завершить главу».

Николай чувствует мое волнение и спрашивает: «Что случилось?» — «Ничего», — отвечаю я как можно спокойно. Он продолжает быстро и уверенно диктовать.

Глава, наконец-то, окончена. Островский, вспомнив, что я, вероятно, опаздываю на работу, тревожно спрашивает: «Который час?» — «Половина второго», — отвечаю я, хотя на часах — пять минут третьего. Лицо его улы-

бается: он доволен работой — сегодня мы много успели.

Я прощаюсь и быстро ухожу».

Несочиненная эта страница обогащает наше представление о самом творческом процессе работы Островского и, конечно, как нельзя лучше характеризует саму Галяю Алексееву.

— Трудно сказать, что нас сдружило, — комментирует она, — общий ли интерес к его будущей книге или язык молодости. Островский любил повторять: «А вместе нам только сорок пять лет».

Галя Алексеева встретила с Островским, когда он работал над шестой главой первой части романа. Всего в ней девять глав. Текст известен. Но вот то, что может знать лишь весьма сведущий человек.

— Когда мы писали седьмую главу, — говорит Галина Мартыновна, — Островский ввел новое действующее лицо — Риту Устинович. Вначале она именовалась более полно — Маргаритой. Этот образ взят им из жизни. Николай вспоминал, как однажды его и Устинович командировали по комсомольским делам в уезд, и им пришлось заночевать в одной комнате. Рита любила Николая и попыталась в ту ночь объясниться с ним. Он же был до того застенчив, что просто-напросто сбежал. Встретились они на следующий день в губкомеле.

Островский представлял все это в комическом виде. Но я чувствовала, что этот удивительно чистый и чуткий человек не мог простить себе той невольной обиды, какую он нанес Рите, и все еще жалел о том, что не сумел тогда поговорить с ней по душам.

Корчагин, как мы знаем из его встречи с Ритой Устинович на VI Всероссийском съезде комсомола, попытался наверстать упущенное. «Остается пожалеть, Павел, что этот разговор происходит через три года после того, как он должен был произойти», — ответила ему Рита.

Любопытен и такой штрих:

— Николай сказал мне, что собирается во второй части книги показать какую-то семью под фамилией «Кюцам». Фамилия звучала странно, надуманно. Но я ответила, что если эта фамилия ему почему-то нравится, то следует на ней и остановиться. Тогда он предложил мне написать эту фамилию наоборот и прочитать. «Мацюк», — произнесла я и рассмеялась. Все стало ясно. Это была девичья фамилия его жены. И семья, которую он собирался показать (и показал), была семьей его жены.

Я задавал вопросы. Галина Мартыновна отвечала. От нее я узнал, что Островский долго думал над названием своей книги: «Как закалялась сталь»? «Павел Корчагин»? «Рождение нового человека»? Он остановился на «Как закалялась сталь». В словах этих глубокий смысл.

— Сталь закаляется при большом огне и резком охлаждении. Тогда она становится крепкой и ничего не боится. Так закалялось и мое поколение. Суровые испытания только укрепили нашу волю, научили нас не сгибаться перед трудностями, не отступать.

Галя Алексеева не только записывала то, что диктовал Островский. Ее помощь была многообразнее. В его речи часто встречались украинские слова, и он советовался, как правильнее произнести их по-русски.

— Я искренне гордилась, когда слышала от него подтверждение своей причастности к его работе. Он говорил: «Мы сделаем так...» «Мы исправим...» «А теперь мы вот что напишем...»

Островский внимательно прислушивался к замечаниям «своего секретаря». Галя Алексеева была ведь не только его помощником, но и первым читателем. Он говорил ей:

— Когда я видел, с каким удовольствием ты перечитываешь отдельные места рукописи, я уже не сомневался

в том, стоит ли мне продолжать работу... Если бы ты знала, как много значит вера в человека!

Случалось, приносили записку: «Сегодня работать не будем. У нас очень весело». Это означало, что все домашнее в сборе. Островский очень огорчился такому вынужденному отдыху.

— Мне так много еще нужно сделать. А я ведь могу и не успеть...

Бывали дни, когда он не мог работать и из-за острых головных болей. Тогда он рассказывал о пережитом, спрашивал Алексееву о ее жизни.

— Меня он просил, чтобы я рассказывала все — и то, что видела, и то, что со мной происходило. Пришлось даже отвечать на вопрос: была ли я влюблена.

Галя читала Островскому газеты: сначала заголовки помещенных материалов, потом то, на чем задерживалось его внимание.

Например, в «Комсомольской правде» Островского заинтересовала заметка о строительстве новых городов.

— Ты только подумай, Галочка, — сказал он, — мы строим сорок девять новых городов. — И торжественно повторил: — Сорок де-вять!

В другой раз его привлекла заметка о лесосплаве в Котласе. Галя прочла заголовок: «Сплав в Котласском бассейне находится под ударом... Комсомол — на линию огня!» Островский послушал и взволнованно сказал:

— Знаешь, о чем напомнило мне это? Вот так же десять лет назад киевские комсомольцы боролись с паводком на Днепре, спасая штабеля бревен, которые грозила унести разбушевавшаяся река. И спасли!

А однажды, когда Галя читала статью на литературную тему, он заметил:

— А вот это о нас. Слышишь: «Создадим произведения о героической борьбе Ленинского комсомола».

Островский не пропускал ни одной статьи о литературе и мечтал с помощью радио заняться литературным самообразованием.

Прочитывались прежде всего статьи и выступления А. М. Горького. Делались выписки.

Читались и книги.

— Николай говорил, что хочет провести сегодня вечер за чтением какой-нибудь хорошей книги. Начинались поиски. Из скудной своей библиотеки я отбирала две-три книги, и та, на которую падал жребий, читалась долго, до полуночи.

Островский перечитывал Фурманова. Большое удовольствие доставляли ему рассказы Чехова.

Галя часто писала и письма Островского: в Ленинград, Харьков, Новороссийск...

Стоит сказать и о том, что она помогала ухаживать за больным. Ольга Осиповна, бывало, попросит ее помочь перестелить постель сыну.

— Ты, хлопец, не воюй. Уж вдвоем-то мы с тобой справимся,— шутила она, приподнимая с моей помощью его легкое, негнущееся тело.

И он, смирившийся со своей физической беспомощностью, улыбался и тоже шутил по поводу того, что вот, мол, такой молодой парень «чихает и кашляет, как изнеженная барышня (в комнате Островского зимой было холодно, и он часто простуживался), а его носят, как спеленутое дитя».

Порой в его словах прорывалась грусть:

— Эх, Галочка, взял бы я сейчас тебя под крендель да пробежал бы по городу. Посмотрели бы на него, побывали бы в театре, в кино... А то зайти бы к друзьям, горячо поспорить и вернуться домой да попить матушкиного чаю.

В октябре 1931 года работа над первой частью «Как

закалялась сталь» была завершена. Островский мог поделиться своей радостью: «Все свои силы я устремил на то, чтобы закончить свой труд, а это в моих условиях очень и очень трудно. Все же, несмотря ни на что, работа закончена. Написаны все девять глав и отпечатаны на машинке. Сейчас произвожу монтаж книги и просматриваю последний раз орфографию, и делаю поправки».

За несколько дней до того он, собираясь отправлять рукопись в «Молодую гвардию», продиктовал Гале две заветные странички: свою кратенькую автобиографию и биографию своей повести «Как закалялась сталь». Диктовал в темпе, быстро, отчетливо. «Физически потерял почти все, остались только непотухающая энергия молодости и страстное желание быть чем-нибудь полезным своей партии, своему классу. Точка. Работа над книгой — попытка передать былое литературным языком. Точка. Никогда раньше не писал. Точка». И последняя строка — подпись: «Член ВКП(б), партбилет № 0285973. Николай Алексеевич Островский».

Когда кончил диктовать, провел своей палочкой по лбу и утомленно опустил ее.

Тут же, совершенно неожиданно для Гали, мягко, но настойчиво произнес:

— Мама, выйди.

Девушка обернулась и увидела в дверях Ольгу Осиповну. Она, оказывается, слушала, как сын диктовал. По ее лицу обильно катились слезы.

Галя поднялась и удалилась вместе с ней. Она тоже была взволнована и как могла утешала мать Островского.

Островский верил в то, что «знамя его новой жизни все равно заполощет». Он ежедневно и ежечасно боролся за это, ждал этого. И наконец, дождался!

— Итак, Галочка, старт дан! — ликуя, воскликнул он, когда в один из весенних дней нового, 1932 года узнал, что

рукопись принята к печати. Торжествуя, он запел свою любимую:

Лейся вдаль, папш напев,
Мчись кругом —
Над миром наше знамя реет,—
Оно горит и ярко рдеет,—
То наша кровь горит огнем...

В июне 1932 года Островский навсегда покидает свою комнату в Мертвом переулке: поезд увозит его в Сочи. На вокзале его провожали ближайшие друзья: И. П. Феденев, М. З. Филькельштейн и, разумеется, Галя Алексеева. Вместе с ним уехала и мать.

В Сочи Островский, как нам уже известно, не раз вспоминал своего милого добровольного секретаря, ее «золотые руки». Он прислал ей один из первых экземпляров своей книги с благодарственной надписью:

«Галочке Алексеевой — моему другу и помощнику, чьей рукой записаны главы этой книги. В память о совместной работе и нашего приятельства».

Он направлял ей письма, надеялся на скорую встречу. Но они больше не встретились.

Галина Мартыновна Алексеева вышла замуж и уехала из Москвы. Вернулась она в отчий дом уже после того, как Мертвый переулок перестал быть Мертвым, а стал переулком Николая Островского.

1965 г.

ПОМЕТЫ НА ПОЛЯХ

Мне не раз приходилось слышать:

— Почему Алексей Максимыч Горький никак не откликнулся на книгу «Как закалялась сталь»? Ведь она была широко известна и о ней писали многие. А он промолчал. Почему?

Я и сам, не скрою, не раз задавал себе этот вопрос и мучительно искал разгадку. Об Островском и его книге действительно писали многие. Тут ему повезло как, пожалуй, никому другому. О его произведении говорилось в одном из докладов уже на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, который возглавлял, как известно, Горький. Позже, весной 1935 года, «Правда» опубликовала очерк Михаила Кольцова «Мужество», посвященный Островскому-Корчагину. Очерк этот прозвучал на всю страну и на весь мир. В том же 1935 году молодого писателя наградили высшей правительственной наградой — орденом Ленина.

Мог ли Алексей Максимович, который так внимательно следил за всем новым, что появлялось в нашей литературе, и так бережно его поддерживал, просто-напросто не заметить Островского?

К тому же Горькому не мог не быть близок корчагинский пафос. Стоит лишь вспомнить:

«Не жалея себя — это самая гордая, самая красивая мудрость на земле, — писал некогда Горький. — Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя! Есть толь-

ко две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные выберут первую, мужественные и щедрые вторую; каждому, кто любит красоту, ясно, где величественное... Да здравствует человек, который не умеет жалеть себя!»

Как это созвучно словам Островского:

«Кто не горит, тот коптит. Это — закон. Да здравствует пламя жизни!»

...В апреле 1936 года я, как уже известно из воспоминаний «Живой Корчагин», был у Горького в Крыму, в Тессели, и передал ему книгу Островского с авторской дарственной надписью. Алексей Максимович поблагодарил. Я говорил с ним об Островском, рассказал о том необычном отклике, который встретила книга среди молодежи. Горький был сосредоточен и насторожен; чувствовалось какое-то внутреннее торможение. Он погладил правой рукой свои порыжевшие от табака усы и спросил, не случится ли с Островским то, что случилось с одним молодым писателем (он назвал фамилию), который быстро «оседлал славу» и у которого от первого литературного успеха образовался чудовищно-уродливый «флюс самомнения».

— Захвалили человека и испортили.

Я старался убедить его, что автор Корчагина — человек иного склада. И зная, как Горький любит Ромена Роллана и Бабеля, сослался на них.

Я даже прочел ему выдержку из недавней речи Бабеля на писательском собрании:

«...Не стану говорить о достоинствах формальных или стилистических книг Островского, но скажу, что меня, чрезвычайно строгого читателя, книга Островского поразила. Давайте честно говорить. Это одна из немногих советских книг, которую я с биением сердца дочитал до конца, потому что там сильный, страстный человек,

знающий, что он делает, говорит полным голосом. У этого человека, рожденного в огне и буре войны, по страшному несчастью голос надломлен. Но, товарищи, у кого есть возможность и силы, тот должен идти по этому пути и эти образцы нужно себе брать».

— Бабель мудрый человек,— улыбаясь, сказал Горький,— мудрый человек...

И я видел, как светлели и добрели его глаза.

— Так вы говорите, он совершенно слепой? — спросил Алексей Максимович и задумался. — Да, этот, видимо, не такой. А вот книги его, признаюсь, еще не прочел. Обязательно прочту и напишу¹.

Тогда я не знал того, что открылось мне значительно позже — после смерти Горького и после смерти Островского и что имело прямое отношение к тому, о чем шла тогда речь.

...Островский ждал отклика Горького еще в то время, когда вышла отдельным изданием лишь *первая часть* книги. «Попадет мне па орехи,— тревожился он,— ...ведь я немало напутал в своей первой пробе руки. Признаюсь, я немного смущен: ведь великий мастер, особенно сейчас, награждает увесистыми ударами кое-кого из «оседлавших славу». Правда, я последнего не имею на своем счету, но все же отзыв Алексея Максимовича меня волнует».

¹ Известный горьковед — профессор А. И. Овчаренко сообщил мне, что, разбираясь в черновиках и набросках четвертого тома «Жизни Клим Самгина», он обнаружил запись, сделанную рукой Горького: «Николай Островский — Сочи, Ореховая, 47. Справки у М. Е. Кольцова. Слепой, парализованы руки, кроме кистей, ноги». Запись эта сделана на странице, повествующей о беседе Кутузова с Самгиным накануне смерти Варвары Самгиной. Наиболее интенсивно, по свидетельству А. И. Овчаренко, Горький работал над этой частью романа весной 1936 г. Это дает основание предполагать, что памятная запись сделана после нашей беседы.

Разные люди передавали ему, что Горький не то думает писать статью о первой части «Как закалялась сталь», не то пишет ее или даже уже написал. Островский беспокоился. О том можно судить по его письмам от 1, 9, 19 и 24 апреля 1934 года, от 9 мая, 16 августа, 27 октября...

В Киеве издательство «Молодий більшовик» выпускает «Как закалялась сталь» на украинском языке. И Островский обращается к главному редактору:

«А. М. Горький передал «Молодой гвардии» теплый отзыв о моей книге, после съезда обещал написать в «Правду» статью. Как только получу отзыв, копию пришлю Вам».

Но вот заканчивается Первый Всесоюзный съезд советских писателей, на котором В. Ставский в докладе «О литературной молодежи нашей страны» говорил и о книге Островского, а долгожданной статьи Горького все нет и нет. Островский пишет:

«Алексей Максимович обещал опубликовать свой отзыв о книге по возвращении из Крыма».

Волнение Островского передано и в его статье «За чистоту языка», которую он писал в апреле того же 1934 года, как отклик на статьи Горького.

«Я открываю первую книгу своей повести, вновь читаю знакомые строки,— и статьи Горького, этого великого мастера словесной живописи, открывают мне глаза; я вижу, где написано плохо, и ряд слов, ненужных и нарочитых, безжалостно зачеркиваются, и если повести суждено снова выйти в свет, то их уже в ней не будет».

Островский до последних дней своей жизни склонен был думать, что где-то все же обнаружат если не законченную статью А. М. Горького о его книге, то хотя бы черновые наброски, записи. И он сожалел о том, что они ему неизвестны.

Сведения же о том, что Горький собирается писать

о первой части «Как закалялась сталь», или пишет, или даже уже написал — не подтвердились¹. Единственное упоминание о книге Островского, принадлежащее Алексею Максимовичу, содержится в его письме, адресованном ответственному редактору «Комсомольской правды» В. М. Бубекину. Оно было послано уже после нашей беседы и после X съезда ВЛКСМ, на котором выступал В. М. Бубекин. В нем есть строки о том, что начало книги Островского редактировано *невнимательно, неряшливо*. Там же — упоминание и о книге того самого нашумевшего автора, о котором с раздражением говорил Горький во время беседы со мной.

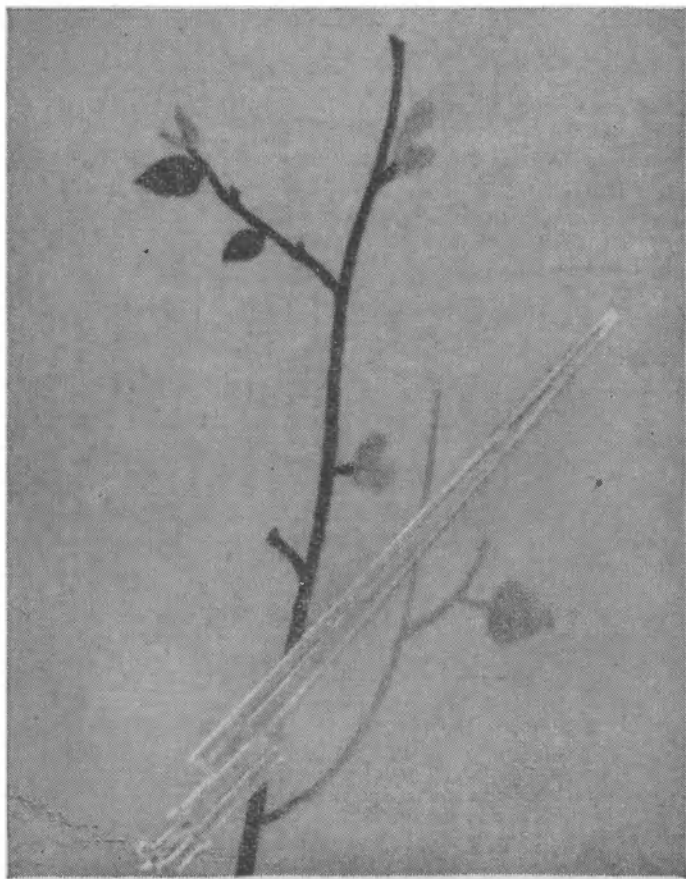
После смерти Алексея Максимовича я пытался разыскать тот самый экземпляр книги Островского с дарственной надписью, который был передан мною Горькому, надеясь, что именно эту-то книгу он начал читать и в ней, возможно, сохранились его пометы. Поиск, к сожалению, ни к чему не привел.

Но вот мне сообщили, что на квартире Горького, в Гор-

¹ В томе писем Собрания сочинений Н. Островского, изданном в 1968 г. (изд-во «Молодая гвардия»), помещено следующее примечание к письму Островского от 1 апреля, в котором он упоминает о скором («на днях») появлении отзыва А. М. Горького на его книгу:

«Статья А. М. Горького не была опубликована и в архиве Горького не обнаружена. Но в журнале «Литературная учеба» № 12 за 1936 г. была опубликована статья критика Сергея Леонидовича Кирьянова «Н. Островский». Можно предполагать, что статья была прочитана и одобрена Горьким незадолго до его смерти, когда он редактировал этот журнал».

Примечание несостоятельное. Статья в журнале «Литературная учеба» появилась спустя *полгода* после кончины А. М. Горького. В ней говорится не только о «Как закалялась сталь», но и о последнем произведении Островского — «Рожденные бурей». Нет никаких оснований предполагать, что эта статья была прочитана и одобрена А. М. Горьким.



ках, обнаружено *первое* издание *первой* части «Как закалялась сталь», вышедшее еще в 1932 году. И более того: в этой книге имеются какие-то пометы.

Я, естественно, помчался к Никитским воротам, в музей-квартиру Горького, чтобы познакомиться с драгоценной находкой.

Да, в личной библиотеке А. М. Горького хранилась книга Островского. Издание это известно: серый коленкорый переплет с метафорически скрещивающимися на нем штыком и веточкой: штык серебристый, веточка зеленая. На этом же переплете веточка почему-то была не зеленой, а черной. Книгу сдали в производство 28 августа, а подписали к печати 2 октября, сразу же после того, как первая часть романа Островского увидела свет на страницах журнала «Молодая гвардия». И в той же редакции, в какой она была уже опубликована.

...Вместе с научными сотрудниками музея-квартиры А. М. Горького (А. М. Крюковой, Р. Г. Беслезем и внучкой Алексея Максимовича — М. М. Пешковой) я листаю книгу Островского и всматриваюсь в пометы. На полях — ни единого слова. Многие места просто отчеркнуты. Встречаются вопросительные знаки. Но вот загадка: сделано это не цветными горьковскими карандашами — красным, зеленым, синим, а обычным чернильным карандашом, в некоторых же случаях даже чернилами. Алексей Максимович никогда так не поступал. Да и линии не его. У него — прямее, аккуратнее. И вопросительные знаки продолговатее. По общему заключению — это не рука Горького.

Чья же рука? И как могла попасть эта книга в личную библиотеку Горького?

Но разберемся прежде всего в пометах.

Первая черточка — на 9-й странице, рядом со словами: «Хозяин буфета, пожилой, бледный, с осунувшимися ще-

ками, человек с бесцветными, вылинявшими глазами...»
Что может здесь значить черточка?

Смотрю второе и третье издание той же первой части романа. Во втором издании 1934 года (редактор Р. Шпунт) в этой фразе опущены слова «с осунувшимися щеками, человек», а в третьем издании (1935 год, редактор И. Горина) еще и уточнено: «Хозяин станционного буфета».

На полях десятой страницы черточка и маленький вопросительный знак. Черточка у абзаца:

«Уже совсем смущенный, он повернулся к Климке и спросил...»

Заглядываю во второе издание:

«Уже совсем смущенный, он повернулся к мальчику и спросил...»

А вопросительный знак относится к опечатке: «...с крупных четырехугольным лицом...»

Новый знак: галочка и короткая горизонтальная линия. В последующей редакции опущены два абзаца (четырнадцать строк), которые здесь, в книге 1932 года, имеются. Опущена и последняя строка предыдущего абзаца.

На 15-й странице галочка у такого места:

«В горячие дни и в горячие для буфета часы носился, как угорелый, с подносами, прыгая через четыре-пять ступенек вниз, в кухню, и обратно. За это на работе и держали.

Много пережил Павка работавших; не было теперь в судомойке Даньки «балахутного», с которым все же жестоко подрался на другой день после поступления на работу, не было смеющейся краснощекой Фроси, не было и тетки Аксиньи. Все они покинули свою работу, работали после них новые женщины-беженки, и стал совсем черный закоптелый потолок судомойки, не закоптела только голова Павки, а могла закоптеть.

Грязно было здесь не только от посуды невымытой, а от людей здесь засевших, от буфета живущих.

Ночами, когда прекращалась толкотня...

В последующей редакции от всего этого места остались лишь строки:

«В горячие для буфета часы носился, как угорелый, с подносами, прыгая через четыре-пять ступенек вниз, в кухню, и обратно.

Ночами, когда прекращалась толкотня...

Так раскрывалось содержание черточек, вопросительных знаков, галочек.

Тогда я принялся сличать текст 1932 года с текстом 1934 года. И обнаружил, что они очень и очень разнятся. Они разнятся с первых буквально фраз. Сравниваешь и убеждаешься, что журнальная редактура, которая была механически воспроизведена в первом издании книги, действительно из рук вон плохая. Понимаешь причину настороженности Горького, которую я ощутил во время нашей беседы.

В начале пятой главы той самой книги, которая находилась еще с 1932 года у Горького, было отчеркнуто такое место:

«Неприглядная, нахмуренная ночь.

В такие минуты даже широко раскрытые зрачки не могут одолеть темноты, и люди движутся ощупью, вслепую, рискуя в любой канаве свернуть голову.

Мало ли отчего можно было свернуть голову, раз вышел человек из дому, раз понесла его нелегкая на улицу в такую пору да в такое времечко, в этот апрель тысяча девятьсот девятнадцатого года, когда так легко было заработать дырку в голове или туловище или недосчитать-ся пары-другой зубов, вышибленных кованым прикладом!»

В последующей редакции это место выглядело по-иному:

«Неприглядная, нахмуренная ночь.

В такие ночи даже широко раскрытые зрачки не могут одолеть темноты, и люди движутся ощупью, вслепую, рискуя в любой канаве свернуть голову».

Дальше, в той же главе, вопросительный знак стоял у строки:

«В одну из встреч, случайной, на дороге Тоня позвала его к себе в гости».

И это место затем было исправлено:

«В одну из случайных встреч, на дороге, Тоня позвала его к себе в гости».

Чьи же это пометы? И как они могли быть учтены при последующей редакции?

Разгадка, как мне представляется, подсказана буквой «Д», которая сделана чернильным карандашом в самом начале шестой главы. Галочка и таинственная буква «Д». Глава начинается здесь так же, как и в журнале «Молодая гвардия».

«В углу окна жужжала проснувшаяся от зимней спячки тощая муха».

Что же означает буква «Д»? Я снова обратился к редакции 1934 года. Там в начале шестой главы оказалось *пять новых страниц*. Они нам теперь известны.

«В большом старом доме светилось лишь одно окно, задернутое занавесью. Во дворе лаял внушительным басом привязанный на цепь Трезор».

Далее — сцена в доме Тони Тумановой. Лиза Лещинская делится со своей школьной подругой новостями. О том, как Корчагин напал на петлюровского конвоира и освободил Жухрая, знают уже его брат и Виктор Лещинский. Тоня в тревоге. Виктор может выдать Корчагина. Ранним утром она отправляется к Павлу. Его нет дома, Она предупреждает об опасности Артема Корчагина,

И конец.

«Тоня и Артем молча смотрели друг на друга.

— Я уйду. Вы, быть может, его найдете, — тихо говорила Тоня, прощаясь с Артемом. — Вечером зайду к вам, вы мне расскажете.

Артем молча кивнул головой.

Таинственная буква «Д» расшифровывается, таким образом, довольно просто: «*дополнение*».

Характер пометок очевиден: внимание обращено на слабые места, на те самые «ненужные и нарочитые» слова, которые сам автор хотел «безжалостно зачеркнуть», на большие огрехи первоначальной редакции и корректуры. Отмечались и места, куда следовало внести дополнения, то есть восстановить ошибочно сокращенный рукописный текст.

Обратить внимание на плохую редактуру текста могли, разумеется, многие. Но поставить букву «Д» в том самом месте, которое было затем дополнено *пятью новыми страницами рукописи*, мог лишь человек, который хорошо знал оригинал, знал, что из него вычеркнуто. Не так ли? Да и как могли последующие исправления так совпасть с пометами, которые содержались в экземпляре книги, находящейся у Горького?

Вот и родилось предположение.

Первая часть первого издания книги «Как закалялась сталь» вышла в декабре 1932 года. Островский находился тогда в Сочи. Он попросил, чтобы ему прочли текст книги и по ходу чтения делал свои замечания: где отчеркнуть, где поставить галочку, а где и букву «Д». (В письмах той поры Островский неоднократно жалуется на то, что «*грубо и некстати отрезали четверть книги*», что в редакции «*проглядели*» все его ошибки. И возмущается тем, что редакционные «*неряхи*» допустили много грубых опечаток. «*Я бессилен бороться*».)

Замечания Островского и нашли свое отражение в тех

самых пометах, которые ставились по его указанию для памяти, на полях книги.

Что произошло потом?

Для Островского, как мы уже знаем, было очень дорого мнение Горького о его первой «пробе руки». И он мог попросить кого-нибудь из своих «добровольных секретарей» направить книгу Алексею Максимовичу. Инициатива могла исходить и не от него, а от кого-нибудь из его друзей. Возможно, случайно, а возможно, и намеренно, Алексею Максимовичу послали экземпляр с авторскими пометами. Если намеренно, то эти пометы должны были подсказать Горькому, что молодой писатель отнюдь не принадлежит к числу тех, кто «оседлал славу», что он видит и понимает недостатки первой отливки своей «стали».

Островский не сделал дарственной надписи на книге. Чем это объяснить? Прежде всего его скромностью. Ведь когда он, например, позже передавал, через второе лицо, свою книгу Н. К. Крупской, он тоже не надписал ее.

— Я не дорос до того, чтобы писать ей, — сказал он. — Отдай книжку так.

К тому же книга еще не была завершена: вышла лишь *первая* ее часть. Вторая часть, как мы уже знаем, появилась спустя два года, да и то не в том виде, в каком он хотел¹.

Гипотеза, как известно, нуждается в подтверждении.

Где было его найти? Нет в живых ни автора, ни адресата. Нет в живых и родных, друзей, которые в ту пору жили с Островским в Сочи.

¹ Только 23 мая 1935 г. Островский смог написать: «Приезжала редактор Горина. Пересмотрели с ней всю рукопись «Как закалялась сталь», и третье массовое издание (стотысячным тиражом) выйдет вполне такое, как я хочу».

Тогда я обратился к редактору второго издания первой части «Как закалялась сталь» (а затем и всей книги) Р. Шпунт. И вот ее ответ, не оставляющий никаких сомнений: *«Помню, как однажды, в Сочи, в дни моей редакторской работы с Островским, он сказал, что послал А. М. Горькому экземпляр своей книги и ждет отклика».*

Алексей Максимович познакомился, конечно, с книгой. И он не мог не обратить внимания на черточки, галочки и вопросительные знаки, сделанные на ее полях. Он убедился в том, что книга (это было, повторяю, только *первое издание первой части* «Как закалялась сталь») и в самом деле плохо отредактирована. Это, разумеется, произвело на него отрицательное впечатление и надолго запомнилось. Горький писал в ту пору свои статьи «О прозе», «О пьесах», «О языке». Мы знаем их.

«Критика недооценивает значение слова как основного материала литературы», — писал он в статье «О прозе». И подчеркивал, что это вредно влияет на молодых писателей.

Тем временем «живой Корчагин», преодолевая поистине адские трудности, продолжал работать. В его памяти оживали черточки, галочки, вопросительные знаки... И он, с помощью новых, уже более квалифицированных редакторов, переплавлял слова, абзацы и целые страницы, добиваясь их большей точности, емкости, выразительности.

В статье Островского «За чистоту языка», о которой я уже упоминал, есть такое место:

«Талантливо написанная книга, насыщенная художественной правдой, переживает своего автора, — я думаю, это мечта каждого писателя».

Именно об этом мучительно мечтал Островский.

Ему недолго оставалось жить. И он спешил сделать все возможное, чтобы его детище пережило его. С присутствующим ему мужеством поднимался он с уступа на уступ,

к высотам литературного мастерства. «...Беру все преграды, а их уйма, упорством. Суровы мои дни, но все силы, всю жизнь отдаю книге», — писал он в те дни. «...Я назло всем предсказаниям врачей о моей скорой гибели упорно продолжаю жить и даже иногда смеяться. Ученые эскулапы не учли самого главного: это качество материала их пациента. А качество вывезло... «Разве могут не победить те сердца, в которых динамо», — говорил Павка Корчагин в своей горячей речи в 21-м году. Это относится и ко мне».

Текст книги *улучшался* от издания к изданию. Невозможное, казалось бы, делалось возможным. Алексей Максимович о том, увы, не ведал.

В архиве Горького хранится верстка книги Островского (уже двух частей «Как закалялась сталь»), направленная ему в марте 1934 года издательством «Молодая гвардия». Верстка осталась, к сожалению, непрочитанной. Действовала «тормозная пружина».

Прочел ли Алексей Максимович книгу Островского после нашей беседы? Вероятней всего, так и не прочел: он был уже тяжело болен и вскоре умер.

Как же понимать то место из письма к В. М. Бубекину, о котором я упомянул? Думаю, что это отголосок прошлого, того *первого* впечатления, которое осталось от знакомства с *первой частью первого издания* «Как закалялась сталь».

Что же касается самого жизненного подвига Островского, то, по свидетельству Е. П. Пешковой, Горький сказал: «Его жизнь — яркий образец торжества духа над телом».



ИСТОРИЯ ОДНОГО ПИСЬМА

Среди эпистолярного наследства Н. Островского есть письмо от 19 февраля 1935 года, адресованное читательнице-комсомолке Харченко. Мне не раз в своих работах об Островском приходилось ссылаться на это письмо, подтверждать им единство Островского-Корчагина.

Но какова его история? Кто такая Харченко? В третьем

томе Собрания сочинений Н. Островского¹, куда вошло это письмо, она названа просто «читательницей-комсомолкой». В именном указателе значится только ее фамилия, а среди адресатов Островского: «Харченко — читательница». Нигде нет даже ее имени и отчества.

На ее след навела меня Н. В. Капиева, живущая в Пятигорске. Она однажды сообщила, что в Ставрополе, в местном книжном издательстве, работает редактором Людмила Ивановна Харченко, у которой хранится какое-то письмо от Н. Островского. Харченко... Не было никаких сомнений, что это она².

Письмо Н. Островского к ней было, как известно, ответом на ее письмо. Вот что она сообщила:

— Мой брат, Николай Ковалев, работал помполитом по комсомолу в Донской МТС Ставропольского края. Он — один из первых комсомольцев и организаторов ячеек в Петровском районе Ставропольского края (в Отечественную войну он погиб под г. Невелем). Как-то после работы Коля принес книгу «Как закалялась сталь» и сказал: «Прочти». Честно говоря, я не сразу начала ее читать, думала, что это что-то «промышленное». После настояний брата я принялась читать и не встала, пока утром следующего дня не закрыла последнюю страницу... Пожалуй, это первая книга после «Овода», которая захватила меня, заставила много дней жить с ее неповторимыми героями. Было страшно обидно за Павку. Почему такого изумительного героя автор так безжалостно искалечил? Ведь я, как и сотни тысяч его благодарных читателей, не знала тогда, что Павел Корчагин — это почти автор. Впервые в жизни подумала: «А что, если я напишу автору?» И написала.

¹ Н. Островский. Собр. соч. в 3-х т. М., Гослитиздат, 1955—1956.

² После опубликования в 1965 г. этого материала в томе писем Собрания сочинений Н. Островского 1967—1968 гг. издания сведения о Л. И. Харченко были уточнены.

Что именно (то есть дословно), я сейчас не помню. Я восхищалась его волевыми героями, его Павкой, но искренно возмущалась тем, что автор «ослепил» своего героя, уложил в постель. Я спрашивала у Н. Островского: «Неужели нельзя было сделать так, чтобы врачи вылечили героя?» Письмо отправила в издательство «Молодая гвардия», а дней через десять получила из издательства ответ, в котором мне сообщили, что мое письмо отправили Н. Островскому, «так как критику комсомольцев он очень ценит».

...Недавно я обнаружил в своем архиве письмо Л. И. Харченко. В воспоминаниях о встречах и разговорах с Н. Островским я писал, что Островский часто присылал в «Комсомольскую правду», где я тогда работал, копии разных своих писем и копии наиболее интересных писем, которые получал. Среди них оказалось письмо Л. И. Харченко. Оно было послано 17 января 1935 года в издательство «Молодая гвардия».

«Только что кончила читать книгу Николая Островского «Как закалялась сталь». И еще под впечатлением ее решила черкнуть отзыв в надежде, что вы передадите его написавшему эту книгу.

Я в восхищении. Книга замечательная. Она поднимает энтузиазм, и после этого хочется жить, творить и создавать. Здесь так мастерски описано участие комсомольцев в гражданской войне, борьба с оставшимися белогвардейскими бандами, борьба с троцкистами.

Книга захватывающая.

Ее хорошо бы было прочесть среди комсомольской братвы. Ведь в ней описываются работники-энтузиасты в лице Корчагина, Жухрая, Устинович и др. И в противовес им болтуны в лице Развалихина, которым не место в рядах великого Ленинского комсомола.

По-моему, плохо Островский сделал, что под конец совсем искалечил Павла, хотя там указывается, что физиче-

ская катастрофа не мешает ему активно участвовать в жизни.

Но мне кажется, это неправильно.

Отнять у героя все: руки, ноги, зрение — это уж слишком.

Уж если он хотел показать, что и больные работают с еще большим рвением, то во всяком случае, можно было бы сделать его просто физически слабым, но не совсем калекой. С ком. приветом Л. Харченко».

Что последовало дальше?

— Кажется, недели через три (точнее, через четыре.— С. Т.) я получила письмо в сером конверте с обратным адресом: «г. Сочи, Ореховая, 47. Н. Островский». Я подумала, глядя на адрес, что в Сочи у нас никого нет из знакомых. Быстро вскрыла конверт и сразу вспомнила книгу, автора. С бьющимся сердцем я прочитала письмо... Читать письмо Н. Островского мне было очень больно, ведь я уже знала, что Павка — это Островский.

Ответ Н. Островского на письмо «читательницы-комсомолки» помещен в третьем томе Собрания его сочинений в несколько сокращенном виде (целиком оно было напечатано впервые в 1938 году в газете «Молодой ленинец»). Привожу его полностью:

«Добрый день, товарищ Харченко!

Вместе с другими письмами издательство «Молодая гвардия» прислало мне и Ваше письмо. Я не могу не ответить на него. Вы протестуете против того, что автор романа «Как закалялась сталь» так безжалостно искалечил одного из своих героев — Павку Корчагина. Ваше движение протеста я понимаю. Так и должна говорить молодость, полная сил и энтузиазма. Герои нашей страны — это люди, сильные и душой и телом, и будь это в моей воле, то есть создай я Корчагина своей фантазией, он был бы образцом здоровья и мужества.

К глубокой моей грусти, Корчагин написан с натуры. И это письмо я пишу в его комнате. Я сейчас у него в гостях. Павлуша Корчагин — мой друг и соратник. Вот почему мне и удалось так тепло написать его.

Он лежит сейчас передо мной, улыбающийся и бодрый. Этот парнишка уже шесть лет прикован к постели. Он пишет сейчас свой новый роман, и Вы вскоре увидите его в печати.

Герои этого романа — это люди, полные энергии, молодые, красивые. Изумительная молодежь нашей страны!

Павел просит меня передать Вам свой привет. Он говорит:

— Скажи ей, пусть она создаст себе счастливую жизнь, счастье же — в создании новой жизни, в борьбе за обновление и перевоспитание человека, ставшего хозяином страны, нового человека, большого и умного, человека эпохи социализма. Борьба за коммунизм, истинная дружба, любовь и молодость — это все для того, чтобы быть счастливым.

Будьте хорошим бойцом, товарищ Харченко!

С коммунистическим приветом Н. Островский¹.

Л. И. Харченко откликнулась на это письмо новым. Она выразила надежду, что Островский обязательно выздоровеет, и пожелала ему успеха в творчестве.

...С тех пор прошло тридцать с лишним лет. «Читательница-комсомолка» стала журналистом, редактором. Свято хранит она в сердце образ человека, который напутствовал ее в юности. Его слова «будьте хорошим бойцом...» стали девизом тысяч и миллионов.

1965 г.

¹ Полностью, но с некоторыми разночтениями, письмо представлено после нашей публикации в Собрании сочинений Н. Островского 1967—1968 гг. издания.



В ГОСТЯХ У ОСТРОВСКОГО

Поиски людей, которые встречались с Николаем Островским, привели меня к Раисе Федоровне Армяновой, проживающей в североосетинском городе Моздок и работающей там методистом районного Дома культуры. Мне сообщила о ней ее давнишняя подруга Людмила Харченко. Она сообщила, что Рая Армянова была дважды в гостях у Островского.

«Что я знаю о ней? — писала Харченко. — В 1935 году (или в начале 1936-го) я вместе с братом Колей Ковалевым и его семьей поехала в г. Моздок. Брата избрали первым секретарем райкома комсомола, а Рая работала в райкоме его помощником, или попросту техническим секретарем. Она же была секретарем комсомольской ячейки при райкоме».

Харченко помогла представить внешность Армяновой тех лет:

«Была она чуть выше среднего роста, с тонкой, как жало у осы, талией (хорошая фигурка была у нее)... Полукружья черных бровей, огромные темно-карие глаза, вздернутый нос, припухлый рот и жемчужные зубы. Красивая была дьявольски!»

Людмила Ивановна знакомила и с характером своей подруги:

«...Смеялась она заразительно. Была очень энергичной и прямой. В выходные дни мы обычно отправлялись большой компанией то в лес, то на буйный Терек, где устраивали соревнования по плаванию... Однажды мы поплыли с Раем на другой берег, побродили там по песку, а когда возвращались, то мне свело судорогой руку и ногу. Рая уже выплыла на берег. Она, конечно, устала: ведь переплыть Терек не так просто. Но когда я крикнула, что тоню, она сразу же бросилась на помощь. А ведь там, на берегу, находились и отличные спортсмены».

Харченко вспомнила и другой эпизод.

«Когда брата перевели работать в Пятигорск, я осталась в Моздоке без квартиры, под открытым небом. Рая забрала меня к себе, в свою многочисленную семью. «В тесноте, да не в обиде», — сказала она».

Читая письмо Харченко, я проникся доверием к Армяновой и попросил ее рассказать о своих встречах с Островским. Она долго не отвечала. Тогда я обратился к от-

звичивой Людмиле Ивановне. Та связалась с Моздоком. И наконец-то прибыл ответ.

Раиса Федоровна Армянова предварила свои воспоминания о двух встречах с Островским письмом, в котором объяснила свое молчание:

«Говорят, что писателю трудно обнажать себя в своих произведениях. Представьте, как это трудно делать заурядному человеку. Ведь поводом к рассказу Николая о девушке-комсомолке послужила я. Это и смущало».

...1 Мая 1934 года девушка решила провести в Сочи со своими сочинскими друзьями. После демонстрации их группа разбрелась: из одиннадцати осталось пятеро. И тут у ребят возникла идея пойти к Островскому: они не раз уже бывали у него. Рая тогда еще ничего не знала об Островском и потому, естественно, спросила: «А кто он?» Ответ ошеломил ее: «О! Это такой человек, такой человек! Но он прикован к постели, слепой...»

«Как же можно идти к нему в гости? — подумала она. — Ему, вероятно, белый свет не мил». И решила: «Нет, не пойду».

Товарищи пытались уговорить ее, а она уперлась — «Нет, не пойду».

Кончилось тем, что ее обозвали дурой и сказали, что если она действительно не пойдет, то будет всю жизнь жалеть об этом.

Подействовало...

И вот они впятером отправились на Ореховую, 47.

«...В глубине двора стоял домик, скрытый зеленью деревьев и кустов... В первой комнате нас встретила мать Николая — маленькая, щупленькая женщина, в темно-синем кашемировом платье, лицо смугловатое, с морщинками в углах глаз и рта. С высоты моих восемнадцати лет она показалась мне старушкой. Значительно позже я по-

няла, что она выглядела и держалась молодцом. Мать провела нас в комнату Николая и сказала:

— Коля, к тебе пришли».

Ребята шумно ввалились в комнату и загалдели: «Угадай — кто пришел?» И Островский, улыбнувшись, назвал всех по имени и добавил: «С вами еще одна девушка, имени ее еще не знаю».

Рая назвала себя.

Сперва ей было не по себе. Но скоро она освоилась. И навсегда осталась в ее памяти маленькая, более чем скромно обставленная комната Островского: железная кровать, на которой он лежал, в простенке между двумя окнами, откуда открывался вид на горы, стол, этажерка с книгами и еще одна маленькая висячая этажерка у его ног, три-четыре стула.

...Речь зашла о первой части книги Островского, которая только что вышла. Он обратился к одному из ребят:

— Максим, возьми ее с этажерки: на второй полке, третья слева.

Тот пошел к окну, где у стены стояла этажерка. Но Островский останавливает его:

— Да не там, вот здесь, у меня.

Максим возвратился к маленькой этажерке из двух полок, висевшей на стене у ног Островского.

— Найди страницу (Островский назвал ее) и начни со строки (он назвал и строку) снизу. Теперь читай.

Когда чтение закончилось, Островский спросил:

— Ну как? Что вы думаете об этом месте?

Армянова не может вспомнить тех страниц, какие читал Максим, и того, что каждый из них затем говорил. Запомнилось только то, что все они были в восторге от прочитанного, и запомнилось лицо Островского, живо реагирующее на каждое их слово. Глубоко запавшие невидящие глаза под бледным, высоким, слегка выпуклым

лбом становились горячими, блестящими. Он вместе с ними переживал сейчас события того бурного, далекого времени, которое донеслось со страниц книги.

Ребята побыли у Островского около двух часов.

Впечатление от этой первой встречи было столь сильным, что девушке снова захотелось повидать Островского: все время перед глазами стояло его вдохновенное лицо, слышался его порывистый голос. И спустя два дня, 3 мая, она, теперь уже одна, отправилась на Ореховую, 47.

Стоило ей переступить порог знакомой комнаты, как Островский утвердительно спросил:

— Ты пришла!

Казалось, он ждал ее и верил в то, что она вот-вот придет.

Она ответила:

— Да.

— Хорошо. Садись. Ты понравилась моей матери,— сказал он просто, непринужденно, как старой знакомой.

Девушка смутилась.

— Чем?

— Не знаю. Она так сказала. (Матери Островского не было в то время дома.)

Он вдруг попросил ее встать и наклониться к его глазам.

— Я хочу тебя рассмотреть. Поверни лицо так, чтобы на него падал свет и чтобы оно было ближе к моему левому глазу и обращено ко мне.

Рая выполнила его просьбу. Он же продолжал:

— Правым глазом я совсем не вижу, а левым немножко вижу, как сквозь густую вуаль, как отражение в воде. Все люди у меня удивительно красивы.

Она улыбнулась от мысли, что не явится исключением. Он же, «оглядев» ее, произнес:

— Теперь я понимаю, почему Максим скакал козлом.

Девушка промолчала. Островский задумался.

— Знаешь, а тебе нужен не такой парень, — сказал он решительно. — Тебе нужен совсем другой человек. Ты извини, я не знаю ваших отношений, но я говорю то, что чувствую. Однажды я изменил этому принципу, не сказал того, что думал, и жалею о том до сих пор.

В этой-то связи и возник рассказ о девушке-комсомолке, который буквально вырвался из уст Островского.

— Я работал тогда в Берездове. Была у нас девушка-комсомолка очень красивая: лицо, фигура, вся как выточенная. пышные волосы. Ребята, конечно, за ней увивались. И не один делал ей предложение. Но все получали отказ. Девушка умная, серьезная. Она тогда считала, что еще не время думать о замужестве.

А тут появился у нас новый парень. Ему девушка, конечно, тоже понравилась, и он стал за ней ухаживать. Ребята посмеивались: напрасно, мол, подметки изнашиваешь, у нас ничего не вышло, и у тебя ничего не выйдет. Но парень был жох: даже поспорил на то, что девушка будет его. Через некоторое время он сделал ей предложение. И получил, разумеется, отказ. Это, однако, не остановило его. Он принялся еще настойчивее за ней ухаживать, клялся в любви, умолял. Девушка была непреклонна. Над парнем уже подтрунивали: «Ну что, удалось? Проспорил!» Он же спокойно в ответ: «Смеется тот, кто смеется последним». И продолжал свое: говорил ей, что не может без нее жить, пугал самоубийством. Жал, в общем, как мог. И в конце концов своего добился: вымолил согласие на женитьбу.

Но девушка решила до того посоветоваться со мной. Пришла и спрашивает: «Как ты думаешь, Коля, он парень неплохой?» Я сперва хотел сказать то, что думаю, отвести ее от него. А потом поразмыслил: если она согласилась идти за него замуж — значит, любит. Чувство это

Нужно беречь. Да и парень, может, опомнится, когда поймет, что тут все серьезно. В общем, я слиберальничал и утешил ее: «Парень неплохой». Она, конечно, только того ждала.

Поженились они.

Парень тот оказался подлецом, да еще каким! После первой же брачной ночи он, поднимаясь с постели и одеваясь, заявил: «А теперь можешь катиться ко всем чертям. Я поспорил с ребятами, что ты будешь моей, и своего добился!»

Вот он какой был...

Островский умолк. Молчала и Рая, встревоженная и огорченная услышанным.

— Тебя, вероятно, интересует судьба девушки, которая была нашей общей любимицей, — продолжил он через некоторое время. — Девушка жестоко поплатилась за свою доверчивость, но она и жестоко расправилась с негодяем. Она тут же схватила наган с тумбочки, стоявшей у кровати, и в упор выстрелила в парня: он был убит наповал. Потом шло следствие. Был суд. Мы принимали все меры, чтобы спасти девушку. И нам это удалось: ей дали какой-то срок лишь условно. Но до чего она после этого изменилась: из веселой, общительной стала угрюмой, замкнутой...

Островский снова умолк. Потом, как бы оправдываясь, сказал:

— С тех пор я никогда не скрываю своих чувств и говорю то, что думаю. Ты уж на меня не обижайся...

Рая Армянова не обиделась. Она прислушалась к словам Островского, и они помогли ей повзрослеть.



ПОД ОДНИМ ЗНАМЕНЕМ

Отмечалось шестидесятилетие со дня рождения Виктора Кина — автора романа «По ту сторону». «Литературная газета» опубликовала статью, в которой было сказано, что «По ту сторону» — это биография одного из самых романтических поколений нашей революции, его страстей, его идей, его надежд, его трагедий. В этом романе есть что-то общее с «Оводом».

Читая эту статью и думая о Викторе Кине, я вспомнил одно из писем Николая Островского, в котором он весьма уважительно отозвался о Кине, вспомнил, что Кин рецензировал рукопись романа «Рожденные бурей», был редактором этой книги, написал к ней предисловие. И не только это.

В декабре 1936 года, в дни всенародного прощания с Николаем Островским, на страницах «Правды» появилась заметка Виктора Кина. Ее напечатали рядом со статьей А. Фадеева «Герои Островского». Кин писал:

«Умер Островский.

А всего несколько дней назад по пяти часов в день я сидел около его кровати: мы работали над рукописью «Рожденные бурей», готовя ее к печати, спорили о героях, сокращали ее, вносили поправки.

Его работа над книгой не имела ничего общего с вялым корпением литературного ремесленника, изготавливающего занимательное чтиво. Он писал с той же страстью, с бесстрашием и презрением к смерти, с какой скакал на коне по улицам взятого им города, когда сзади разорвался польский снаряд, ударивший его осколком в спину.

Его новая книга дает образы замечательных, героических и бесстрашных людей, каким был и сам Островский».

Вскоре вышло несколько изданий «Рожденных бурей». Одно из них, которое редактировал Виктор Кин,— в «Роман-газете». Сопровождалось оно коротеньким послесловием. В нем читаем:

«Роман «Рожденные бурей» был сдан мною в набор за несколько дней до смерти Н. А. Островского, после того как мы закончили в основном редактирование рукописи. Предстояло сделать еще несколько поправок стилистического характера, главным образом сокращений. Мы условились сделать их потом, когда будут получены первые

оттиски набора. Но Островскому не суждено было закончить свою работу над романом».

Не случайно Виктор Кин стал редактором книги Николая Островского. Не случайна его заметка в «Правде». Их многое роднило в жизни и в творчестве.

Виктор Павлович Суровикин (Кин) был только на год старше Островского. Но как и Островский, он принадлежал к комсомольцам «первого призыва», а в партию вступил еще в 1920 году.

Семнадцатилетним юношей он участвует в борьбе против антоновских банд. Был политруком роты на польском фронте. Потом — подполье в Приморье.

После окончания гражданской войны он редактирует комсомольскую газету на Урале. Затем кончает институт журналистики и литературное отделение Института красной профессуры, сотрудничает в «Комсомольской правде» и в «Правде». Печатаются его первые рассказы.

В 1928 году появляется роман «По ту сторону»...

Мы знаем уже, что думал Виктор Кин о Николае Островском, как он к нему относился. А Островский? Ответ на этот вопрос мы находим в одном из последних его писем.

«Рожденные бурей» были вчерне закончены. Директор Гослитиздата Н. Н. Накоряков послал в Сочи автору отзыв рецензента Виктора Кина и предложил, чтобы тот стал редактором книги. Островский собирался в Москву. Но он, не дожидаясь отъезда, ответил письмом, в котором выразил свое отношение к Виктору Кину.

Островский писал:

«...Вы спрашиваете, не сделать ли Вам основную редакционную работу до моего приезда, чтобы я уже имел представление, что и почему нехорошо и как редактор предполагает все это улучшить.

Такую работу прошу Вас обязательно провести. При-

том, дорогой товарищ Накоряков, редактором «Рожденных бурей» должен быть самый лучший Ваш редактор. Я имею на это право». И вслед за этим: «Если В. Кин — это автор романа «По ту сторону», книги, которую я люблю (хотя с концом ее не согласен), то это был бы наиболее близкий мне редактор».

Островский поблагодарил за критические замечания.

«...Я могу не согласиться с некоторыми Вашими положениями, но в основном это умное дружеское письмо мне нравится своей искренностью, отсутствием банальных комплиментов и ненужной патоки. Побольше свежего ветра и дышать нам будет легче. А то за реверансами трудно разглядеть свои недостатки, а их безусловно немало».

И наконец, последние слова:

«Дружеский привет товарищу Кину»¹.

Что очевидно из этого письма?

То, что Островский относился к Виктору Кину с большим доверием. Автор книги «По ту сторону» был «наиболее близким» ему редактором. Это подчеркнул Островский. Он, как следует из того же письма, знал и любил книгу Виктора Кина, которую, должно быть, прочел вскоре после ее выхода в свет. И она произвела на него, судя по всему, глубокое впечатление.

¹ В. Кин писал в своей рецензии:

«В новом романе Н. Островский проявил бесспорные и крупные дарования. Он уверенно владеет сюжетом и умеет создавать интересные сюжетные положения — такова, в частности, блестящая сцена, когда Птаха отбивается в котельной от легионеров: он смело вводит большое количество действующих лиц, умело расставляет их, хорошо очерчивает характеры».

В той же «внутренней рецензии» он высказал и критические замечания: они были связаны с языком романа, с образом Раймонда, с тем, что Олеся и Сарра, по его мнению, очерчены недостаточно отчетливо — «им не хватает индивидуальности» и т. д.

В «Как закалялась сталь» можно обнаружить даже отголоски, или, говоря иначе, реминисценции «По ту сторону».

Напомню хотя бы объяснение в любви Матвеева: «—...Я тебя очень люблю — больше всего. Ты мне важнее всего на свете...» И за этим: «Кроме партии».

И вот слова Корчагина: «— Я так люблю тебя, Тоня!» «И я плохим буду мужем, если ты считаешь, что я должен принадлежать прежде тебе, а потом партии. А я буду принадлежать прежде партии, а потом тебе и остальным близким».

...Но что скрывается за словами, взятыми в скобки: «хотя с концом ее не согласен»?

Обратимся к содержанию «По ту сторону».

...1921 год. Два друга — Безайс и Матвеев, два молодых коммуниста — вот уже три недели находятся в пути: они приехали из Москвы в Читу — столицу ДВР (Дальневосточной республики), а теперь командированы в окруженный белыми Хабаровск. Оттуда предстояло еще пробраться через линию фронта в Приморье — к партизанам.

Безайс — романтик. Он верит, что мировая революция будет если не завтра, то уж послезавтра наверное. Юноша успел уже быть и уполномоченным по конфискации имущества лиц, бежавших с белогвардейскими бандами, и собирать по уездам брошенные помещичьи библиотеки, и конвоировать арестованных, и воевать на польском фронте.

Матвеев несколько старше его. Он — из армейских политработников: более дисциплинирован, благоразумен, решителен.

Они разные, и вместе с тем один дополняет другого. А корень у них общий.

Не буду пересказывать всех их приключений по пути в Хабаровск. Когда они, проявив героизм, добрались туда,

то оказалось, что город занят белыми. Их пытались задержать. Но они спаслись. При этом был тяжело ранен Матвеев; пришлось ампутировать ногу.

И вот в этом месте сюжетная линия произведения Виктора Кина скрестилась с тем, о чем мучительно думал Корчагин: как жить дальше?

Матвеев на костылях. Но он, находясь в городе, занят врагами, торопит Безайса: «Мы обязаны доехать и начать работу». Тот пытается его отговорить: «...да ведь это место черт знает где — в тайге. Туда и здоровым людям трудно добраться, а как же ты?» Тогда Матвеев просит привлечь его к подпольной работе в городе: «Новая нога у меня не вырастет... берите меня, какой я есть. Вместе с костылями. На какую угодно работу, все равно». Его просят не обижаться, но дают понять, что он не может участвовать в готовящейся боевой операции, он будет мешать. «Чем? Очень просто. Это не игра. Там будет драка. А драться вы не можете... Кому-то придется за вами присматривать. На костылях вы далеко не убежите,— значит, будете задерживать других».

Возникает беспощадно суровый вопрос «Зачем жить?», тот самый, который возник, как мы помним, и перед Корчагиным. И вот страница из романа «По ту сторону»:

«Тогда он вынул из-под подушки револьвер и, наклонившись к окну, заглянул в дуло. «Как живем?» — пробормотал он. Дуло преданно смотрело ему в глаза. У револьвера была простая, честная душа, какая бывает у больших и сильных собак. Он выручал Матвеева несколько раз раньше, в хорошее время, и готов был выручить сейчас.

Ведь бывают случаи, когда лучше самому выйти за дверь. На что он был теперь годен — без ноги, когда даже свои обходят его? Он привык жить полной жизнью и идти впереди других, а его просят отойти в сторону и не мешать.

Он осмотрел револьвер. Было трудно пойти на это, как трудно бывает выбросить старую сломанную вещь, к которой давно привык. Смерть — это скверная штука, что бы там ни говорили о ней.

— Привычки нет,— пробормотал он, взводя курок.

Он поднял руку, чтобы выплеснуть жизнь одним взмахом, как выплескивают воду из стакана. Это был плохой выход, но ведь он не хвастался им.

Но была, очевидно, какая-то годами выраставшая сила, которой он не знал до этого дня. На полу, в лунном квадрате, он увидел свою тень с револьвером у головы и тотчас же вспомнил избитые фразы о трусости, о театральности, о нехорошем кокетстве со смертью,— и ему показался смешным этот банальный жест самоубийц. Такая смерть была бесконечно опошлена в «дневниках происшествий», в праздной болтовне за чайными столами всего мира — да и сам он всегда считал самоубийц самыми худшими из покойников. Несколько минут он сидел, глядя на свою тень и нерешительно царапая подбородок, а потом осторожно, придерживая пальцем, спустил курок. В конце концов, у человека всегда найдется время прострелить себе голову.

— Представление откладывается,— прошептал он, накрываясь одеялом.

Эта страница Кина ассоциируется, конечно, с той самой страницей из второй части «Как закалялась сталь», где Корчагин, сидя в приморском парке, тревожно думает о своей жизни, и его рука тянется к револьверу. Там дуло смотрит не «преданно», а «презрительно», и у него отнюдь не «простая, честная душа». Матвеев проницательно прошептал: «Представление откладывается». Корчагин же зло выругался: «Все это бумажный героизм, братишка!» И он произнес слова, звучащие как девиз: «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полез-

ной». «Представление» не откладывается, а раз и навсегда отменяется.

Любопытно дальнейшее развитие сюжета. Матвеев принялся писать повесть. Ему нравилось то, что он делал. «Бумага задымилась кровью и перо нагрелось от горячих слов». Но вот он прочел листовку, оставленную Безайсом: она звала к немедленной борьбе, к действию. И тогда Матвеев понял, что он никогда не допишет повесть, что вся она не стоит запятой в этой листовке, кем-то наспех написанной. Он сжигает страницы повести и, чтобы доказать, что он тоже к чему-нибудь годен, берет ночью, тайком, сверток листовок, ведро с клеем, кисть и отправляется один, на костылях, пренебрегая опасностью, на работу.

Его ловят, и он погибает в ожесточенной неравной схватке. И вот его последние предсмертные переживания:

«— Здоровый... дьявол,— донеслось до него.— Помучились с ним...

Это наполнило его безумной гордостью. Оно немного опоздало, его признание, но все-таки пришло наконец. Теперь он получил все, что ему причиталось. Снова он стоял в строю и смотрел на людей как равный и шел вместе со всеми напролом, через жизнь и смерть. Клонясь к земле, на снег, под невыносимой тяжестью роняя силы, он улыбнулся разбитыми губами».

По-иному складывается, как мы знаем, судьба героя Островского. Корчагин дописал повесть. Он готов был, в случае нужды, продолжить наступление. «Все ли сделал ты, чтобы вырваться из железного кольца, чтобы вернуться в строй, сделать свою жизнь полезной?» — спрашивал он себя. И отвечал: «Да, кажется, все!» У его героизма более ясный ум и более крепкие нервы. Он не на миг, а на годы. Матвеев возвращается в жизнь через смерть. Корчагин прорывает кольцо смертельной блокады,

Несогласие Островского с концом книги Кина имеет принципиальное значение. Дело не в том, кто прав: Матвеев или Корчагин. Истина конкретна. Юноши действуют в разных условиях. Но очевидно, что характер Корчагина с большим запасом прочности. Внутренний монолог Корчагина сильнее, содержательнее матвеевского. Тому показался смешным «банальный жест самоубийц», он вспомнил избитые фразы, пошлые разговоры. Здесь же — другое: «Шлепнуть себя каждый дурак сумеет всегда и во всякое время. Это самый трусливый и легкий выход из положения. Трудно жить — шлепайся. А ты попробовал эту жизнь победить? Ты все сделал, чтобы вырваться из железного кольца? А ты забыл, как под Новоград-Волынском семнадцать раз в день в атаку ходили и взяли-таки наперекор всему? Спрячь револьвер и никому никогда об этом не рассказывай!» И дальше — строки, которые я уже привел: «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной».

То, что пережил Корчагин, куда тяжелее того, что переживал Матвеев. И Островский, думая о будущем Корчагина, спорил с Матвеевым, не соглашался с концом книги «По ту сторону».

Именно только с концом, как замечено в скобках в письме Островского. И это важно подчеркнуть по той причине, что находятся люди, склонные расширительно толковать слова Островского, распространить их на всю книгу В. Кина, углубить спор Корчагина с Матвеевым, противопоставить Корчагина не только Матвееву, но и Безайсу.

Приведу в этой связи то, например, что писал критик С. Лесневский:

«...Островский знал роман Кина, любил его, но спорил с героями (!) Кина. Один из них, Матвеев, тоже, как и Корчагин, собирается стать писателем, но делает это для

того, чтобы убить (вместо себя) время (!), создать иллюзию жизни (!). Островский спорил с красивой, но бессмысленной (!) гибелью Матвеева...»¹

И дальше критик не ограничивается гибелью Матвеева. Он обобщает: «Островский спорил с обесцениванием личности, которое проповедовали герои Кина». И находит, что в этом Островский был солидарен с Кином».

В чем — «в этом»? Разве Кин усматривал в Безайсе и Матвееве то, что усмотрел С. Лесневский? И разве из приведенного мною признания Островского («...книги, которую я люблю, хотя с концом ее не согласен...») следует то, что утверждает критик?

Ничего подобного! Напрасно С. Лесневский выдает свои мысли за мысли Островского и Кина.

Кин и Островский любили героев романа «По ту сторону». С. Лесневский же пытается обличить их и противопоставить Корчагину. Он пишет:

«Один из героев Виктора Кина, отважный Безайс, прочитав «Преступление и наказание» Достоевского, простодушно воскликнул: «Боже мой, сколько разговоров всего только из-за одной старухи!»

Нет, для Павки Корчагина жизнь — своя и чужая — предмет постоянных раздумий».

Но разве можно игнорировать тот конкретный исторический контекст, который связан с фразой Безайса относительно старухи?!

«Ему приходилось видеть страшные вещи, а он был всего только мальчик. Ночью в город пришли казаки и до рассвета убили триста человек. Утром он вышел с ведрами

¹ То же самое повторяет Л. Аннинский в своей книге «Как закалялась сталь» Николая Островского» (М., «Художественная литература», 1971).

за водой и увидел на телеграфном столбе расслабленные фигуры повешенных — верный признак, что в городе сменились власти. Когда белые ушли, мертвецов свозили на пожарный двор и складывали на землю рядами. Вместе с другими Безайс ходил на субботник укладывать их по двое в большие ящики и заколачивать крышки гвоздями. Сначала ему было не по себе среди покойников, но потом он оправился.

— Ничего особенного,— решил он».

Понятно? Вот с чем и связано то, как реагировал Безайс на «Преступление и наказание». Критик читал, надо полагать, и то, что следует за удивленным восклицанием Безайса. «Его томило желание отдать за революцию жизнь, и он искал случая сунуть ее куда-нибудь,— так велик и невыносим был сжигавший его огонь».

Это было характерно для Безайса и того поколения, к которому он принадлежал.

К этому поколению принадлежал и Корчагин. И критик, который столь строго судит отважного Безайса за его равнодушное отношение к «Преступлению и наказанию» и противопоставляет ему Корчагина, не может не знать, что тот же Островский-Корчагин тоже был весьма равнодушен к Достоевскому: он даже не захотел (о, ужас!) иметь его книги в своей библиотеке. И где уверенность в том, что он не повторил бы возгласа Безайса о старухе, прочитав «Преступление и наказание»?!

У каждого времени — свой пафос. Чтобы его понять, нужно им проникнуться. Прошлое нельзя мерить современными мерами.

Из контекста выхватывается еще одна цитата, относящаяся к Матвееву. Выглядит она так: «Людей надо считать взводами, ротами и думать не об отдельном человеке, а о массе. И это не только целесообразно, но и справедливо, потому что ты сам подставляешь свой лоб под удар,—

если ты не думаешь о себе, то имеешь право не думать о других. Какое тебе дело, что одного застрелили, другого ограбили, а третью изнасиловали? Надо думать о своем классе, а люди найдутся всегда».

Следует рефрен критика:

«Нет, это не корчагинская мораль».

Но критик опять же игнорирует то, что он не вправе игнорировать: исторически-конкретную обстановку. С чем связано то, что говорит Матвеев? Что тому предшествовало?

...Безайс и Матвеев едут из Читы в Хабаровск. По дороге их вагон отцепили: сломалась рессора. Чтобы продолжить свой путь, они садятся в теплушку партизана Майбы. Тот пьян и пристаёт к какой-то молодой женщине. Безайс возмущен: «Вот я его застрелю, скота!» — шепчет он засыпающему Матвееву. «Попробуй только», — предостерегает Матвеев.

Ночью их обоих избивают и выбрасывают из теплушки; Безайс, оказывается, не выдержал и вмешался. «Я не мог этого видеть», — говорит он. «Ты стрелял?» — спрашивает Матвеев, заметив в его руке револьвер. — «Нет, не успел. Они так двинули меня по голове, что чуть было не отшибли ее совсем». И Матвеев с укором: «Из-за этой девчонки?»

Они должны были как можно скорее добраться до Хабаровска. Безайс поступил опрометчиво. Он это понял. И потому: «Не ругайся, — сказал он просительно. — Это надо было видеть. Кажется, они хотели ее изнасиловать». Вот тогда-то Матвеев и приходит в ярость: «Идиот, — крикнул он с каким-то воплем. — Романтику разводишь? Защитник невинности? Вот я тебя убью сейчас... Да ведь тебе *партийное дело поручено* (выделено мной. — С. Т.), дураку. Понимаешь? Ломай себе голову, если ты свободен. А сейчас тебя это не касается, все эти девицы и благород-

ство». И позже Матвеев объясняет Безайсу свою точку зрения: идут те самые слова, которые привел С. Лесневский, усматривая в них не *высочайшее сознание партийного долга, а «обесценивание личности»*.

На этом стоило остановиться, так как дурному примеру критика последовал драматург Ю. Принцев — автор «документальной драмы» «Девятая симфония», в которой Николай Островский главное действующее лицо. (Журнал «Нева», № 11, 1966 г.) Драматург не только повторил критика, но и привнес в свою пьесу нечто такое, что не могло не вызвать резкого протеста. Так оно и произошло: я имею в виду коллективное письмо в редакцию «Литературной России» (21 апреля 1967 г.), озаглавленное «В угоду придуманной схеме».

Чем было вызвано это письмо семи известных литераторов?

Островский в пьесе Ю. Принцева собирается кончать самоубийством. Чтобы оправдать это, он пытается «теоретизировать». Но как это ни покажется странным, Островский произносит не соответствующий монолог Корчагина, а несколько изуродованных фраз Матвеева из романа Виктора Кина. А присутствующий при сем друг Островского Аким комментирует: «Чудовищная философия. Фашизмом разит». И Островский не находит что ответить.

Здесь, должен заметить, разит не чудовищной философией, не фашизмом, а геркулесовым столпом недобросовестности. И авторы письма правы, когда пишут:

«Надо ли говорить о том, как нелепо и безответственно звучит все это в пьесе, претендующей к тому же на «документальность»! Павка Корчагин, Матвеев и Безайс — беззаветно преданные революции молодые коммунисты. Можно спорить об их характерах и точках зрения, но сама попытка противопоставления абсурдна».

К тому, что было сказано в коллективном письме-про-

тесте, стоит добавить, что возмутительная манипуляция с фразами Матвеева — лишь одно из звеньев в общей цепи пьесы.

Обращу, в этой связи, внимание на продолжение диалога Аким — Островский.

Островский писал в «Как закалялась сталь» о Корчагине:

«Павел потерял ощущение отдельной личности. Все эти дни были напоены жаркими схватками. Он, Корчагин, растаял в массе и, как каждый из бойцов, как бы забыл слово «я», осталось лишь «мы»: наш полк, наш эскадрон, наша бригада».

Это родственно той самой цитатке из Матвеева, которую так жестоко осудил С. Лесневский, а за ним уже Аким, и заодно драматург. Аким говорит правоучительно Островскому:

«Ты людей все еще полками считаешь, дивизиями, армиями, классами... А они, браточек, уже давно (!) Иваны Ивановичи, Петры Николаевичи, Николаи Алексеевичи... И все разные, Коля! Человек уже не тот, когда встречаешь его второй раз (?!), и совсем другой (?!), если видишь его в третий».

Вон она, оказывается, правильная философия!¹

Изрядно напутал по сему поводу и упомянутый уже мною в сноске Л. Аннинский.

То он называет Виктора Кина чуть ли не близнецом Островского и пишет, что его герои — родные братья Корчагина. То решительно (и безосновательно!) противопоставляет Островского Кину, утверждая: «Для Островского (и это его абсолютно неповторимая черта как писате-

¹ Более обстоятельно о пьесе «Девятая симфония» я писал в статье «Под видом документальности» («Театральная жизнь», 1967, № 16).

ля) преданность идее есть качество, увиденное *только изнутри* (курсив автора.— С. Т.), оно есть знак цельности, не знающей и не желающей знать никаких иных вариантов». (?!)

В одном и том же абзаце соседствует: Матвеев «кончил жизнь самоубийством» и Матвеев «погиб в схватке с белогвардейцами».

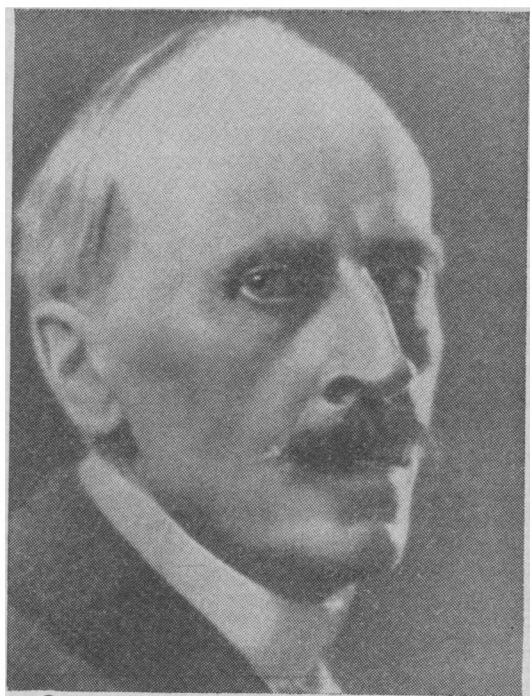
Матвеев, как мы уже знаем, действительно погиб в схватке с белогвардейцами. Но при чем тут самоубийство? Критик же продолжает мушкетировать мнимое самоубийство Матвеева, чтобы противопоставить ему отказ Корчагина от самоубийства и тем самым углубить их расхождение.

Книги Виктора Кина и Николая Островского сильны тем, что в них правдиво отражено революционное прошлое. Нет никаких оснований противопоставлять мораль Безайса и Матвеева корчагинской морали. И есть все основания говорить о ее общности.

...И вот они встретились, Виктор Кин и Николай Островский — люди одного поколения, одного революционного пафоса, близкие и родные.

Время разъединило их: я имею в виду не только скорую смерть Островского, но и то трагическое, что произошло вскоре с Кином, и разумеется, с его книгой.

К нашему великому счастью, все это в прошлом. Они снова обрели друг друга — Кин и Островский, Безайс, Матвеев и Корчагин. Отныне и вовеки стоять им рядом, в одном строю, под одним знаменем.



РОДСТВО ПЛАМЕННЫХ ДУШ

Свободным душам всех наций, которые страдают, борются и побеждают, посвятил свой роман «Жан-Кристоф» Ромен Роллан.

Душа! Что такое душа? Религиозно-идеалистическое понятие? Бесплотное существо, остающееся якобы после смерти человека?

Нет, имелось в виду совсем другое! Душа — психическая

жизнь человека, совокупность его чувственных и сознательных побуждений, внутренний его мир, глубочайшая и всеобъемлющая его сущность. Душа — у всего живого, всего сущего. Есть она у наций, и у эпох, и у учений... Душой марксизма называл, например, диалектику В. И. Ленин.

Разные, как известно, бывают людские души. Есть души холодные и есть горячие, поистине пламенные.

Жан-Кристоф и Павел Корчагин! Такая аналогия может кое-кому показаться не только неожиданной, но и искусственной. Что-де общего между романтическим образом немецкого музыканта, восставшего против нравов буржуазного общества, боровшегося за правду в искусстве и в жизни, с пареньком из Шепетовки, ринувшимся в битву за свободу Родины, выбывшим из строя и проявившим невиданное мужество в борьбе за возвращение в строй? Они ведь дети разных эпох и сами разные. Да, разные. Но у них пламенные души!

В испытаниях закалялась душа Кристофа. Будучи пятнадцатилетним пуританином, он слышал голос своего бога: «Страдай! Уми! Но будь тем, кем ты должен быть: человеком!»

Кристоф претерпел величайшие муки. Он познал и отчаяние. Но он принадлежал к тем людям, которые готовы действовать до последней возможности.

Это сближает его с Корчагиным — сыном другой эпохи и другого народа.

В них то общее, о чем так выразительно писал Роллан, обращаясь к советским друзьям:

«Я избрал своим девизом великие слова Бетховена «Durch Leiden Freude» не в извращенном истолковании их, как «Радость в страдании», как экзальтация страдания — вещь болезненная и вредная, — а в подлинном их значении: «Через (durch) страдание и, несмотря на не-

го,— радость» или еще сильнее: «Друзья, вы, что страдаете, берите радость, завоюем ее».

Что касается меня, то я завоевал ее моим «Жан-Кристофом» и его жизнью, полной борьбы, и из умершего «Жана-Кристофа» тотчас же возник бодрый «Кола Брюньон», ставший, я это знаю, другом многих из вас...»

Роллан советовал и звал:

«Никогда не удовлетворяйтесь победой нынешнего дня!.. Нельзя победить один раз навсегда, надо побеждать каждый день. Надо каждое утро начинать сначала или продолжать битву, начатую накануне...»

Как это близко Корчагину! Как перекликается с призывом Островского:

— Только вперед, только на линию огня, только через трудности к победе, и только к победе — и никуда иначе!

Вот оно — родство пламенных душ!

Кристоф и Корчагин отдалены многим: временем, событиями, социальной средой.

Уместно, однако, напомнить, что Роллан предполагал посвятить один из томов своего романа участию Кристофа в революционных битвах. Высланный из Франции и Германии, он находит себе убежище в Лондоне и связывается с революционными эмигрантскими кругами. Кристоф даже находится в тесной дружбе с одним из революционных вождей, человеком большой моральной силы, который, по словам Роллана, был сродни итальянцу Мадзини или Ленину.

Замысел остался неосуществленным. Но он достаточно ясно показывает, куда и с кем шел Кристоф.

Эпиграфом к предпоследней (девятой) книге романа автор взял слова песни, которые заслуживают того, чтобы их воспроизвести. Они не только кристофского, но и корчагинского звучания!

Тверд я и крепок: я — алмаз,
Молотом не разбить меня,
Острым не расколоть резцом.
Стучи, стучи, стучи по мне —
Все равно не убьешь.
Фениксу-птице подобен я,
Той, что и в смерти находит жизнь,
Той, что из пепла родится вновь.
Так бей же, бей же, бей же по мне —
Все равно не убьешь.

Роллан выражал надежду, что Жан-Кристоф станет для читателей «верным спутником и проводником во всех испытаниях». И в этом тоже нельзя не видеть близости Корчагина Кристофу.

Подтверждением тому служит и тот необычайный интерес, который проявил автор «Жан-Кристофа» к автору «Как закалялась сталь». Ромен Роллан — один из первых художников Запада, который восторженно оценил подвиг Николая Островского. Я имею в виду его письмо к Островскому и статью о нем. А с другой стороны — письмо Островского к Роллану. Через горы времени Корчагин как бы протянул свою дружескую руку Кристофу.

На этом стоит остановиться подробнее.

Ромен Роллан, живя на своей швейцарской вилле «Ольга» в Вильневе, получал «Комсомольскую правду» и находился, по его словам, «в контакте» с газетой. В 1935 году он, как известно, побывал в Советском Союзе. Его связь с центральным органом комсомола стала еще теснее. Прощаясь с Москвой, он передал со страниц газеты сердечный привет всей советской молодежи. Позже, уже из Вильнева, он прислал в «Комсомольскую правду» статью «Счастье советской молодежи».

Редакция газеты обращалась в ту пору к Ромену Роллану со многими просьбами. И он неизменно откликнулся. Откликнулся и тогда, когда в силу разных обстоятельств не

мог эти просьбы выполнить. У меня сохранилось, например, его письмо от 4 октября 1935 года — ответ на просьбу принять участие в дискуссии по статье «О воспитании чувства ненависти». Ромен Роллан ответил, что он не может принять участия в дискуссии, так как занят приведением в порядок дел, накопившихся за время его поездки в Советский Союз. «Кроме того, смерть Барбюса и борьба против разразившейся войны заставили меня взять на себя новые задачи». И тут же: «Но я остаюсь в контакте с вашей газетой, и как только смогу что-нибудь послать вам, сделаю это с удовольствием. Всем сердцем с вами и вашими молодыми читателями».

Первое, что он смог послать, — приветствие X съезду комсомола, открывшемуся 11 апреля 1936 года.

В конце января 1936 года широко отмечалось семидесятилетие со дня рождения Романа Роллана. Островский направил ему письмо. Оно глубоко тронуло Роллана. Он не мог забыть о нем и, несмотря на чрезмерную занятость, спустя несколько месяцев все же ответил.

Островский находился в Москве. Сюда, на улицу Горького, в майский день донесся к нему голос Романа Роллана.

«Дорогой Николай Островский!

Простите, что я до сих пор не мог поблагодарить Вас за Ваше письмо от 29 января. Не многие проявления симпатии тронули меня так, как тронуло то, которое исходило от Вас, потому что Ваше имя для меня — синоним редчайшего и чистейшего нравственного мужества. Я восхищаюсь Вами с любовью и восторгом. Будьте уверены, что, если Вы в Вашей жизни и знали мрачные дни, Ваша жизнь есть и будет светочем для многих тысяч людей. Вы останетесь для мира благотворным, возвышающим примером мирной победы духа над предательством индивидуальной судьбы. Вы стали единым целым с Вашим великим

освобожденным и воскресшим народом. Вы сделали своей его мощную радость и его неудержимый порыв. Вы в нем, он — в Вас.

Горячо жму Вашу руку.

Ваш друг Ромен Роллан».

Роллан сослался на это письмо и повторил из него большой предпоследний абзац в той самой статье о Николае Островском, которую он написал после его смерти и которая представлена в Собрании его сочинений.

Островский умер в конце декабря 1936 года. А весной нового, 1937 года из Вильнева прибыл пакет. И в нем — статья «Николай Островский»: машинописная, на трех-четырёх листках тонкой бумаги. В конце, будто выведенная черной тушью, изящно-четкая остроконечная подпись Романа Роллана и дата — 17 мая.

Приведу начало статьи в том переводе, в каком она впервые увидела свет 6 июня 1937 года на третьей полосе «Комсомольской правды»:

«Величайшие творения искусства эпохи революции — это рожденные ею люди. Во взрыве новой жизни, раскалывающем содрогающуюся землю, возникают пламенные души, как гимны, оглашающие воздух криками веры. Отголоски этих гимнов будут звучать долго после того, как эти люди исчезнут. В будущем эти люди станут вдохновителями и героями эпических и романтических песен — жатвой обильных лет, для которых время революции было суровым предвесеньем.

Николай Островский — один из таких людей, этих гимнов кипучей жизни и героизма».

Роллан дал достойную отповедь своему соотечественнику Андре Жиду, пытавшемуся изобразить Островского как «душу, лишенную почти всякой связи с внешним миром и не находящую ни в чем себе опоры». Роллан писал: «...Андре Жид воображал, протягивая руку Островскому,

что это пожатие могло «связать его с жизнью». Но из этих двух людей именно умирающий мог бы «связать» того, другого, «с жизнью». Как Андре Жид не сумел почувствовать этого? Впрочем, этот неугасимый факел действия мог лишь обжечь его пальцы».

Любопытно, что в статье нашли отражение некоторые публикации об Островском, которые появились в дни его похорон в «Комсомольской правде».

Эта статья Роллана стала затем предисловием к французскому изданию романа «Как закалялась сталь». Ею великий писатель, человек пламенной души, отдал дань уважения и восторга Островскому-Корчагину, о котором можно было сказать именно то, что сказано о Жане-Кристофе:

«Пусть он умрет сто раз, он снова возродится, он снова будет сражаться, он снова будет братом свободных мужчин и женщин всех наций, которые страдают, борются и побеждают».

1966 г.

ПАВЕЛ КОРЧАГИН НА РОДИНЕ ДИМИТРОВА

Это не дорожные впечатления. Я был в Болгарии месяц. Привел меня туда... Николай Островский.

Несколько лет назад я прочел в ежегоднике Софийского университета исследование Йордана Цонева: «Николай Островский и болгарское революционно-освободительное движение». Удивила необычная широта темы. Удивила и взволновала.

Я знал, что книга «Как закалялась сталь» — одна из самых популярных, если не самая популярная советская книга за рубежом. Корчагин поистине шагает по планете. Мне приходилось много читать и самому писать об этом. Но тут: «Николай Островский и болгарское революционно-освободительное движение». Исследование состояло из трех глав: «Николай Островский среди болгарских политзаключенных», «Николай Островский среди нашей революционной молодежи» и, наконец, «Николай Островский в партизанских отрядах» — в годы великой битвы против гитлеровского нашествия. Тот же автор прислал мне еще одну свою работу на тему «Николай Островский и проблема положительного героя в творчестве некоторых болгарских писателей» и пригласил приехать, чтобы воочию убедиться в том, как глубок здесь корчагинский след.

И я поехал...

Меня, конечно, интересовало: почему именно Болгария дала такой обильный материал для той самой темы, которой посвятил свое исследование Йордан Цонев?

Около тридцати лет назад, когда еще жил Николай Островский, к нему, в Сочи, дошло письмо старого узника Старо-Загорской тюрьмы Георгия Огнянова. Это был один из первых откликов из-за рубежа на книгу «Как закалялась сталь». Островский ему очень обрадовался.

Оттуда, из Старо-Загорской тюрьмы, его книгу, переведенную уже на болгарский язык, в 1936 году переправили в Сливенскую тюрьму, потом к политзаключенным в Плевен, Шумен, Вратцу, Кырджали... Долго скитался по тюрьмам Павел Корчагин, прежде чем свободно зашагал по болгарской земле.

Я встретился в Софии не только с Георгием Огняновым, но и с бывшим секретарем подпольной партийной тюремной организации Борисом Копчевым и его женой Таней Царвулановой, которая была связной между узниками Старо-Загорской тюрьмы и Николаем Островским, с бывшим политзаключенным Александром Гырчевым.

Но прежде чем рассказать об этих встречах, я познакомлю читателей с человеком, которого нет уже в живых, — с Лилией (Лидией) Карастояновой. Она была первым болгарским корреспондентом Николая Островского. И о ней, естественно, должно быть сказано первое слово.

Два года назад в Болгарии издана документальная повесть «Большая жизнь маленькой Лилии» об этой комсомолке-героине. Ее родители были профессиональными революционерами: Александр Карастоянов возглавил восстание в г. Ломе и был казнен. К смертной казни приговорили и мать Лилии — Георгицу. Но этот приговор не был приведен в исполнение, так как народ поднял свой мощный голос протеста. Ее удалось освободить. Потом она бежала из Болгарии.

Международная организация помощи революционерам (МОПР) помогла девочке переселиться в 1926 году в Москву. Советский Союз стал ее второй родиной.

Лилия жила и воспитывалась в детском доме на Красной Пресне. В 1935 году, когда ей исполнилось восемнадцать лет, она прочла «Как закалялась сталь». Возникла потребность поделиться с автором книги своими впечатлениями.

«...Павел Корчагин — тот тип комсомольца, который я хочу выработать в себе, и книга «Как закалялась сталь» поможет мне в этом».

Она написала Островскому и о том, что произошло с ее другом: он был хорошим спортсменом, но попал под трамвай и стал инвалидом (четырнадцать переломов). Возник трагический вопрос: зачем жить? Ответ на него дал Корчагин. Появилась вера в себя. Это и спасло юношу. Он добился того, что на районном соревновании Красной Пресни занял первое место по плаванию и гимнастике.

Лилия подписалась: «...дочь болгарского революционера...»

Позже, летом 1936 года, она побывала у Островского в Сочи. Он запомнил ее письмо.

Их встрече был посвящен очерк Ирины Бразуль «Вечерний разговор», появившийся в одном из воскресных приложений к «Комсомольской правде».

Островский попросил товарища, который привел к нему Лилян, рассказать, какая она собой. И тот принялся ее описывать:

— Смуглая, волосы черные, глаза большие, носик у нее такой... тупенький, что ли? Вообще же она очень складная. И ямка на подбородке...

Островский расспрашивал ее о Болгарии, о ее друзьях, о Георгии Димитрове, о том, что она видела.

Лиляна завидовала тогда тем, кто сражался за свободу Испании, и призналась Островскому, что просила послать ее туда добровольцем. Островский и сам рад был бы находиться там.

— Но ты не горюй,— утешал он ее.— И не спеши... Достойные желания всегда должны сбываться...

А прощаясь, спросил:

— Ты никогда не пробовала писать?

— Что писать, то есть о чем? — растерялась девушка.

— Вот о чем рассказывала? Нет? А ты попытайся. Может, сейчас тебе не все видно в собственной судьбе. Будешь постарше, разберешься...

...Через несколько лет девушка стала журналисткой. А в военные годы, будучи работником «Комсомольской правды», отправилась во вражеский тыл, в клетнянские леса, к партизанам.

Она погибла в бою близ белорусской деревни Будище и была посмертно награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью Партизанской славы I степени.

В книге Героя Советского Союза Г. Артозеева «Партизанская быль» есть целая глава «Наша Лена» (Лена — партизанское имя Лилии). Там говорится о последних днях ее жизни. Островский помог ей стать достойной сестрой Корчагина.

...Болгарская комсомолка Лилия Карастоянова писала Николаю Островскому, живя в Москве. Первый же отклик на его книгу, который пришел из самой Болгарии, был, как мы уже знаем, от узников Старо-Загорской тюрьмы.

Но как проник к ним в тюрьму Павел Корчагин? Тут-то проявила себя связная Таня Царвуланова.

Много воды утекло с тех пор, когда болгарская комсомолка Таня раздобыла книгу Островского и переправила ее узникам Старо-Загорской тюрьмы. Но разве забудешь молодость, ее порывы?! Они живы в памяти и в сердце. И Таня (ее по-прежнему, несмотря на годы, зовут Таней) вспоминает прошлое.

...Начало ее биографии схоже с тем, что мы знаем уже

о Лилии Карастояновой. Свирепый режим правительства Цанкова трагически сказался и на ее семье. Отец Тани — известный болгарский коммунист, доктор Нено Царвуланов был зверски убит. В тюрьму заключили и ее мать, которой тоже грозила смерть. Но под давлением возмущенного общественного мнения ее вынуждены были освободить. И ей с детьми удалось перебраться в Москву.

Таня окончила среднюю школу и поступила в текстильный институт.

В 1929 году она в Москве вышла замуж за вожак болгарских комсомольцев, политэмигранта Бориса Копчева.

Вскоре Копчев вернулся для нелегальной работы в Болгарию. Здесь его арестовали и осудили на двенадцать с половиной лет.

Таня тяжело переживала то, что произошло с мужем. А тут ее еще подкосила болезнь.

В то время ей и попалась в руки недавно вышедшая «Как закалялась сталь».

— Я воспрянула духом,— говорила мне Царвуланова.— Корчагин подобно мощному аккумулятору зарядил меня энергией, бодростью.

Тогда-то она решила переправить эту «духоподъемную» книгу своему мужу и его друзьям. Но тот экземпляр, который читала и перечитывала она, был взят из библиотеки. А в магазинах книги уже не было: ее быстро раскупили. Таня решила обратиться к автору.

В начале января 1936 года она послала письмо Островскому, который был в Москве. Письмо сохранилось. Оно написано на русском языке.

«Тов. Островский!

Простите, что я Вас беспокою, но другого выхода я не нахожу. Дело в том, что я нигде не могу купить Вашу

книгу «Как закалялась сталь», а мне ужасно хочется послать ее мужу, который находится в застенках фашистской Болгарии.

Какой это будет праздник для них получить эту прекраснейшую книгу в той обстановке фашистского режима, в которой они находятся!

На меня лично Ваша книга произвела неизгладимое впечатление — особенно ее герой Павел Корчагин.

Как бы я хотела иметь одну сотую долю его энергии и жизнерадостности и переносить все жизненные невзгоды так, как он.

Ну, ладно!

Я надеюсь, тов. Островский, что если у Вас есть лишний экземпляр, Вы не откажете мне в просьбе, а зарубежные товарищи (конечно, и я) будут Вам бесконечно благодарны.

Простите за беспокойство,

С ком. приветом
Таня Царвуланова,
болгарка-комсомолка».

Через несколько дней прибыла книга с коротенькой запиской Островского. Тане не удалось, к сожалению, сохранить ее. Но она помнит ее содержание. Островский писал, что он исполняет ее просьбу и посылает свою книгу для болгарских политзаключенных.

Таня немедленно отправила книгу в Болгарию. Она послала ее в Старо-Загору в адрес Святослава Тодорова, сын которого, политэмигрант, жил в Москве. Муж ее к тому времени находился в Старо-Загорской тюрьме. Святослав Тодоров должен был по нелегальным каналам переправить туда драгоценный подарок.

Таня писала Островскому:

«Получила Вашу книгу. Бесконечно Вам благодарна

за внимание. Книгу уже послала товарищам и уверена, что они Вас лично поблагодарят, хотя это будет не особенно скоро».

Да, письмо от Георгия Огнянова пришло только через четыре с лишним месяца. Но за это время Павел Корчагин обрел много новых друзей: он проник в камеры узников Старо-Загорской тюрьмы и оттуда, преодолевая жандармские кордоны, пошел по Болгарии.

Я интересуюсь «пребыванием» Павла Корчагина в Старо-Загорской тюрьме. Задаю вопросы. На них отвечает Борис Копчев.

Во всей его внешности — в выправке, манере говорить — чувствуется военный человек. Энергичное, волевое лицо. Острые глаза...

— Вместе с радостью, которую мы ощутили, когда к нам в тюрьму проникла книга Островского, — говорит Копчев, — появилась и тревога за ее судьбу: нужно было уберечь эту ценность от глаз и ушей врага и в то же время сделать ее достоянием всех политзаключенных. Нелегко было это осуществить.

Здесь следует сказать кое-что о Старо-Загорской тюрьме. Это была не обычная рядовая тюрьма, а особая, дисциплинарная. В нее попадали «провинившиеся» заключенные из разных тюрем Болгарии. Мрачен был не только ее внешний вид. Суровый внутренний ее режим был рассчитан на то, чтобы в кратчайший срок физически и духовно сломить узника, сделать то, чего не могли сделать другие тюрьмы.

Первым познакомился с Павлом Корчагиным Борис Копчев. Не день и не два читал он урывками книгу, прислонившись спиной к дверному «глазку», чтобы этого не мог видеть надзиратель.

В минуты коротких тюремных прогулок Копчев доложил о книге своим товарищам по партийному руковод-

ству. И тогда было решено немедленно перевести ее и размножить.

— Мы вели напряженную борьбу за укрепление революционного духа, за то, чтобы вытащить кое-кого из капитулянтского болота. Книга Островского должна была стать нашим надежным помощником.

Тридцать лет назад нынешний генерал-лейтенант в отставке Борис Копчев был, как мы уже знаем, секретарем подпольной тюремной партийной организации. Георгий Огнянов ведал ее «техническим отделом». Когда книга Островского проникла в тюрьму, ее разделили на части (по главам) и начали переводить на болгарский язык. Переводил Иван Маринский. Он аккуратно, печатными буквами (чтобы тюремщики не могли распознать руку переводчика), вписывал чернилами в тетрадки страницу за страницей, печатными же буквами размножали перевод. Таким образом, «Как закалялась сталь» сразу же появлялась в нескольких экземплярах.

Не так просто было в тюремных условиях все это делать. Надзиратели следили за каждым шагом заключенных. Малейшая «провинность» каралась карцером. И все же «технический отдел» обеспечил безопасность работы переводчика и переписчиков.

Выделили и группу чтецов: главы читались в общих камерах.

— Несколько месяцев, пока переводился, переписывался и читался роман, весь коллектив политзаключенных жил этим. События, с которыми знакомил нас Островский, стали настолько близки нам, что, казалось, мы тоже в них участвовали. Каждый слушал и думал: «Корчагин не то перенес, а выдержал. Нужно выдержать и мне». Книга учила стойкости. Тюремщики старались разложить нашу среду, вербовали предателей. Корчагин вселял веру в победу революционного дела. Тюремщики клеветали на

Советский Союз, на советских людей. Корчагин был образом советского человека, выросшего в Советском Союзе. Он был тем человеком с большой буквы, который поистине звучал гордо. И он разоблачал ложь тюремщиков. Каждый из нас думал: «Как сильна и прекрасна должна быть страна, которая имеет таких сыновей». Корчагин был комсомольцем, коммунистом. Он служил примером того, как должен себя вести комсомолец, коммунист перед лицом врага, перед лицом возможной смерти.

Борис Копчев вспомнил в этой связи:

— Несколько товарищей приговорили к смертной казни. Среди них был мой друг Петко Манолов. Он хорошо знал русский язык и прочел «Как закалялась сталь» в подлиннике. Манолов стал пламенным пропагандистом книги Островского. Он говорил: «Смерть — ничто, наше дело — все». Их повели на казнь, а они пели революционные песни. Последними их словами было: «Да здравствует пролетарская революция!»

Партийная организация поручила Георгию Огнянову ответить Николаю Островскому. К его ответу были приложены две маленькие зарисовки, сделанные политзаключенным Крумом Дерменджиевым: внешний вид Старо-Загорской тюрьмы и портрет Г. Огнянова.

Письмо Георгия Огнянова уместилось на двух маленьких листках бумаги. Оно, несомненно, представляет историко-литературный интерес, и я не буду его пересказывать, а воспроизведу в русском переводе.

«22/V. 1936. Тюрма — Ст. Загора.

Товарищ Островский!

После долгих мытарств ваш подарок — 1 экз. вашей книги «Как закалялась сталь» в наших руках. Уже два человека ее прочли, а предстоит прочесть ее всем 250 политзаключенным, которые находятся в этой тюрьме. Мы сделаем все необходимое, чтобы это было как можно

скорее. Товарищи, которые знают русский язык, прочтут ее в оригинале, а для остальных переведем ее на болгарский. В общих камерах (у нас 4 камеры политзаключенных по 20—25 человек в каждой) ее будут читать коллективно, а в «одиночках», в которых находятся по два человека, книгу будут читать порознь. Крайне трудно уберечь ее от глаз местных архангелов¹, но мы учимся преодолевать и эти трудности.

Я восхищен вашей книгой, а мой друг, который сейчас ее читает в возможное для него время, не может от нее оторваться ни на секунду. Другой мой друг, который прочел ее первым, был до того ею увлечен, что чуть не получил выговор за «небрежную работу».

Нам дорога ваша книга не только как ценное высокохудожественное произведение, которое может многому научить наших литераторов. Она дорога и тем, что мы можем использовать ее в нашей практической деятельности — в политико-просветительной работе, которой мы придаем большое значение. По вашей книге мы можем знакомиться с гражданской войной после Великого Октября, а также с восстановительным периодом. Особую ценность представляют для нас страницы, в которых наглядно представлена борьба партии с троцкизмом.

Мы испытываем острую нужду в научной марксистско-ленинской литературе. Вы же сумели в художественной, легко восприимчивой форме отразить великие события классовой борьбы. Для нас это особенно важно, учитывая те условия, в которых мы находимся, и учитывая, что основная масса политзаключенных — это молодежь, у которой еще относительно слабая теоретическая подготовка.

Горячий привет от старого узника всем работникам литературного фронта нашего пролетарского отечества.

Скоро будет победа над фашизмом и у нас. И после

¹ Так называли тюремщиков, жандармов, надзирателей.

12 лет тюремного заключения я смогу еще принести какую-то пользу делу освобождения.

Ком. привет Г. М. Огнянов — политзаключенный —
Ст. Загора, тюрьма».

Георгий Огнянов, который стал было привыкать, как он мне признался, к своей «профессии» заключенного, дождался счастливого дня освобождения своей родины. Он был политработником — заместителем командира болгарского корпуса. Сейчас он болен и ушел на пенсию.

Александр Гырчев пыне журналист. Он сидел в «одиночке» с Крумом Дерменджиевым, который стал известным скульптором. Гырчев многое подтвердил и уточнил.

— Книга Островского была для нас необычной книгой, — сказал он. — Мы воспринимали ее как руководство к действию и готовы были к любым испытаниям. К нам в камеру она доходила не главами, а страничками. И мы были счастливы каждой встрече с Корчагиным.

...Николай Островский сожалел о том, что ему не придется участвовать в грядущей схватке с фашизмом. Но мир знает, как доблестно сражалась его книга, как вдохновляла она миллионы людей разных стран и наций.

Йордан Цонев насытил свое исследование многими фактами того, как в годы последней освободительной войны Павел Корчагин проникал в партизанские отряды, как появлялись его двойники: «Павки», «Корчагины».

Я не буду сейчас о том рассказывать. То же самое можно было наблюдать и в других братских социалистических странах. Подчеркну лишь, что в Болгарии корчагинский след виднее, заметнее. Отсюда и тема «Николай Островский и болгарское революционно-освободительное движение». Она рождена самой жизнью.

Нелегальное существование Павла Корчагина в Болгарии закончилось 9 сентября 1944 года, когда Болгария стала свободной.

Дальнейшая его жизнь связана здесь с пменем Людмила Стоянова, которое вряд ли нуждается в эпитетах: он перевел «Как закалялась сталь» на родной язык и стал пламенным пропагандистом этой книги. Людмил Стоянов помог несомненно болгарскому читателю лучше понять черноглазого паренька из Шепетовки и сдружиться с ним.

Он писал:

«Самое трудное в литературе — создать новый тип, целостный и правдивый, в котором тысячи и тысячи находят что-то свое, от своей судьбы и от своей жизни. Павел Корчагин именно такой новый тип, новый человек, и именно это его значение почувствовали миллионы читателей, которые его любят, как нечто свое близкое».

Людмил Стоянов способствовал такой любви.

Книга Островского, кроме всего прочего, полна для болгар того особого «русского обаяния», на которое обратил внимание еще болгарский классик Иван Вазов. Вспомним хотя бы его рассказ «Негостеприимное село».

Корчмарь и местные крестьяне приняли было русского человека за шваба и отказали ему в еде. Но узнав, что он не шваб, а русский, оказали ему братское гостеприимство, накормили и напоили.

Заканчивается рассказ такими примечательными словами:

«В это самое время Стамбулов, тогда еще всемогущий властелин, говорил корреспонденту немецкой газеты «Кельнише цейтунг»:

— Я ослабил русское обаяние в Болгарии на пятьдесят лет.

Если Стамбулов говорил искренне, то это свидетельствует о том, что сей талантливый государственный муж был плохим психологом.

Пять веков находился болгарский народ в рабстве. Но «Балканский лев» не покорился чужеземцам. Истекая

кровью, он сопротивлялся. «Свобода или смерть» — стало девизом тысяч отважных болгарских сынов и дочерей.

Национально-освободительная борьба, которую вел болгарский народ, знала своих великих апостолов: Паисий Хилендарский, Георгий Раковский, Василий Левский, Любен Каравелов, Христо Ботев... В каждом из них — черты героя, о котором тот же Иван Вазов писал в романе «Под игом»:

«Он знал только, что ему придется преодолеть множество препятствий и опасностей... Но для таких рыцарских натур препятствия и опасности — родная стихия, в которой закаляются их силы. Сопротивление их укрепляет, гонения не страшат, опасности воодушевляют, ибо все это — борьба, а борьба вдохновляет и облагораживает».

Но Апрельское восстание 1876 года закончилось трагически. Свободу болгарам принес «Дед Иван» (так в Болгарии называли Россию, русский народ). С тех пор никому и ни в какой мере не удавалось ослабить «русского обаяния». Оно росло и крепло от поколения к поколению.

...Я был в Софии, на исторической Шипке, в Плевене, Ловече, Габрове, Вазограде, Кюстендиле, во многих городах и селах Болгарии и всюду видел, как бережно хранят память о прошлом, как сильно здесь его обаяние. В знак любви и признательности к русскому народу сооружены храмы и памятники. Всюду мелькают русские имена и названия. Корни болгаро-русского братства глубоко в народной почве. И чем дальше, тем все больше и больше они разрастались и крепили.

Старое болгаро-русское братство обогатилось новым болгаро-советским содержанием.

Истинные друзья, говорят, познаются в беде. Мы познали друг друга в общей борьбе с чудовищной фашистской бедой. Гитлеру не удалось выставить против нас ни одно болгарское соединение. Мы же пришли на помощь

нашим болгарским братьям и еще раз спасли их. 8 сентября 1944 года войска Третьего Украинского фронта под командованием маршала Толбухина вступили на болгарскую землю. А 9 сентября народное вооруженное восстание похоронило фашистскую власть.

Всюду я видел общие могилы и эпические монументы в честь нашей общей победы.

Прошлое — далекое и близкое — стало прочным фундаментом для настоящего и будущего. *Общая* борьба с *общим* врагом, под *общим* знаменем, за *общие* идеалы.

Книга Николая Островского пришла из России, из Советской России. Она несла в себе обаяние коммунистических идей, цельных и сильных характеров, искренности и верности чувств. В борьбе закалилась поистине рыцарская натура Павла Корчагина. Это-то и покорило болгарских читателей. Я мог в том убедиться, вглядываясь и вслушиваясь в новую для меня жизнь.

— Корчагин не стареет, — сказал болгарский поэт Павел Матев.

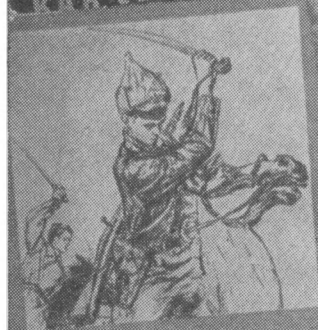
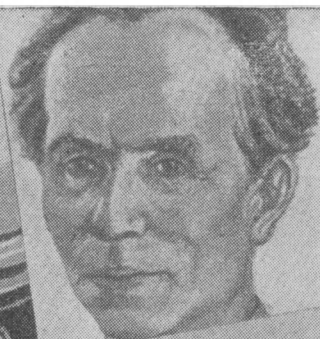
Тому много свидетельств. Одно из них — то, как встретили мои выступления об Островском: будь то в Софийском университете или на центральных курсах комсомольских работников, в общежитии учащихся в Варне или в средней школе Кюстендила. Не только слушали и задавали вопросы, но и пылко, от души говорили:

— Для нас Корчагин — призыв и пример. — И повторяли его требовательные слова о жизни, которую надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...

Все это я воспринимал как нечто знакомое, даже обычное. Необычным было начало корчагинского пути в Болгарии. О нем-то прежде всего и хотелось рассказать.



КАК СЕ КАЛЯВА



NIKOLAI A. OSTROVSKIJ

ЈАК
СЕ КАЛИЛА
ОЦЕЛ



Николай Островски

Как
се каляваше
стоманата



50

ПАВЕЛ КОРЧАГИН НА РОДИНЕ ЮЛИУСА ФУЧИКА

Предварю этот очерк несколькими напоминаниями, не имеющими прямого отношения к теме, но, как убедится читатель, помогающими уяснить некоторое ее своеобразие. Мать Николая Островского, которую по-русски звали Ольгой Осиповной (Иосифовной), была чешкой. Девичья ее фамилия — Зайиц. Имя отца (дедушки Островского) — Йозеф, а матери (бабушки) — Франтишка. Жили они в Моравии, в селе Пашовице, недалеко от Угерского Брода¹. Переселились они на Украину, как и многие их земляки, в 1862 году. Здесь, в городе Дубно, на Волыни, спустя тридцать лет и родилась мать Островского, которая была восьмым ребенком в семье.

«Волынские чехи», как называли переселенцев, сохраняли свой язык, обычаи, нравы. Были у них и чешские школы.

Ольга Осиповна с детства знала, конечно, родной *materský jazyk* (буквально — материнский язык). Знали его и ее дети. Чешское не было в их семье чем-то инородным, иностранным².

¹ Фамилия Зайиц в тех местах очень распространена. «Пашовицкие Зайицы як пражска шунка», — улыбаясь, прокомментировала в беседе со мной учительница Людмила Фускова. (Шунка — ветчина, которой славится Прага.) Ей приходилось не раз бывать в Пашовицах и встречаться со многими Зайицами.

² Подтверждение тому мы находим в одной из первых (если не первой!) работ по островковедению в Чехословакии, в дипломной работе Е. Фойтиковой «Произведения Николая Островского

...Мать Островского давно мечтала встретиться с чехами. И вот однажды в местной сочинской газете появилась заметка о приезде дорогих гостей из Чехословакии. Их приезд был тем более знаменателен, что лишь в 1934 году установились дипломатические отношения между нашими странами. Ольга Осиповна попросила сына устроить ей встречу. «Мамочка, не беспокойся,— ответил он,— я это по телефону устрою».

И устроил!

В письме Островского от 2 декабря 1935 года имеются такие строки: «...на днях у меня была чехословацкая делегация, приехавшая в СССР на Октябрьские торжества. Вот уж матушка наговорила по-чешски вдоволь».

В Праге я разыскал двух товарищей, входивших в эту делегацию и побывавших у Островского: один из них — профессор Ярослав Прохазка, другой (вернее, другая) — Ружена Родовска, которая в те годы носила свою девичью

в Чехословакии и их значение в период строительства социализма», написанной еще в 1952 году, когда она была студенткой философского факультета пражского Карлова университета. В этой работе приведена выдержка из письма (от 12 июля 1952 г.) сестры Н. Островского — Екатерины Алексеевны, адресованного Е. Фойтиковой, в котором она вспоминает, как в семье Островских любили по вечерам петь украинские и русские песни, а также «чешские песенки». Дети, свидетельствует Екатерина Алексеевна, хорошо понимали чешский язык, знали много чешских пословиц и поговорок, которые в разговоре употребляла их мать. «Много чешских семей,— писала она,— жило в Шепетовке, так же как и польских и еврейских. Коля рос среди ребят разных национальностей, его друзьями были дети чеха-пекаря: хорошие ребятки, работающие. Это нашло, и не могло не найти отражения в творчестве Николая».

Сошлюсь в этой связи и на письмо самого Н. Островского от 3 июня 1935 года. В нем читаем: «Мы с Катюшей (имеется в виду Екатерина Алексеевна.— С. Т.) коротаем вечера, вплоть до 12 часов ночи слушаем радио... Музыка прекрасная. Особенно Прага отличается (или в нас говорит чешская кровь)»...

фамплию — Фиалова. У нее сохранилась фотография делегации, и мы насчитали на ней двадцать восемь человек. Делегация побывала в Москве и в Магнитогорске, в Ленинграде и в Новороссийске, в Киеве и в Ростове-на-Дону. Жили в железнодорожном вагоне, в котором и путешествовали.

Сочинская встреча с Островским была недолгой (он плохо себя чувствовал, и гости не хотели утомлять его). Не все, разумеется, сохранилось в памяти: прошли ведь годы и годы! Но содержание беседы запомнилось.

Островский рассказывал о своей работе над новым романом «Рожденные бурей» и шутя заметил, что есть «некоторая выгода» в его нынешнем состоянии: он может целиком отдаваться своему любимому писательскому делу. Спросил: читал ли кто из товарищей его «Как закалялась сталь»? Книга тогда еще не была издана в Чехословакии. Но среди делегации нашлись такие, которые знали русский язык и были уже с нею знакомы. Они заверили Островского, что Павка Корчагин найдет и в Чехословакии много друзей. Островский был тому очень рад и подарил им экземпляр книги.

Приятно поразило гостей, конечно, то, что в доме Островского они неожиданно услышали родную чешскую речь.

Вот как это выглядело по воспоминаниям Ольги Осиповны, появившимся в свое время в чешской печати:

«...Я здороваюсь с ними по-чешски, и сердце мое бьется так, что того гляди выскочит. Я говорю, что уже забыла правильный чешский язык... Они меня убеждали, что говорю вполне прилично. Я их повела к Коле. С ними был переводчик. Но Коля не захотел, чтобы переводили, он сказал, что все понимает... И в доказательство даже запел по-чешски народную песенку: «Когда я хотел быть веселым, я шел в кабачок. Следом за мной — жена моя: «Иди домой, гуляка!..»

В чешской печати упоминалось и о встрече Ольги Осиповны, уже после смерти Островского, со старым чехословацким комсомольцем и коммунистом, бойцом интернациональной бригады в Испании Ярином Гошеком. Он жил в Готвальдове, и я связался с ним.

Весной 1939 года, уже после смерти Островского, Гошек приехал вместе с женой в Сочи, и они посетили музей Островского. Ольга Осиповна, узнав, что снова пришли чехи, сердечно приветствовала их на чешском языке.

И тут же сказала:

— Жаль только, что вы, потомки Яна Жижки¹, не выступили в прошлом году против кровавого пса Гитлера.

Несколько лет затем Ольга Осиповна переписывалась с Гошеками. А узнав, что у них родилась дочка — Ярушка, она объявила себя ее бабушкой.

«Николай Островский воздал дань своему происхождению», — писали в Чехословакии, имея в виду то, что в обоих его произведениях представлены и чехи.

В книге «Как закалялась сталь» мы встречаем веселого белокурого чеха Франца Клавичека: он входит в ту самую бытовую коммуны из пяти человек, в которой были Жаркий, Корчагин, Окунев и Артюхин.

Затем Клавичек — на строительстве узкоколейки.

Позже, находясь в Киеве, он снабжает ребят хлебом. «Чудный парень! — пишет о нем Анна Борхард. — Хлеб для вас он печет сам. В пекарне никому не доверяет. Сам просеивает муку, сам месит тесто. Муку где-то добыл хорошую, и хлеб у него получается прекрасный, не в пример тому, что я получаю».

¹ Ян Жижка (1360—1424) — выдающийся чешский полководец и политический деятель времени гуситских войн, национальный чешский герой. Его именем называли свои отряды чешские партизаны, боровшиеся с гитлеровскими захватчиками.

Это Клавичек, как помним, привозит Корчагину меховую куртку от Риты Устинович и, будучи начальником караула, гибнет в бою с бандой Орлика.

Клавичека как бы сменяет в романе «Рожденные бурей» юный чех Пшеничек (тоже пекарь), с которым мы впервые встречаемся в тюремной камере, где свирепствует Врона.

Пшеничек — еще несовершеннолетний. Островский писал о нем: «Это был высокий белокурый парень с голубыми глазами, одетый в рабочее платье пекаря. Полиция арестовала его на работе за то, что он с ножом кинулся на хозяина, избивавшего десятилетнего ученика. Хозяин отделался царапиной, но Пшеничека ждал суд».

Под конец романа мы застаем Пшеничека в охотничьем домике, рядом с Раймондом, Птахой, Олесей, Саррой...

Но все это, как понимает читатель, имеет не прямое, а косвенное отношение к теме «Павел Корчагин на родине Юлиуса Фучика». Обратимся к тому, что непосредственно с нею связано.

Еще в 1935 году, до того как книгу Островского персвели на чешский язык, коммунистический еженедельник «Творба», издававшийся в буржуазной Чехословакии, откликнулся на нее статьей «Книга о великом мужестве». А еще раньше Юлиус Фучик, который стал затем редактором «Творбы», находясь в Советском Союзе, прочел «Как закалялась сталь» и сказал: «Ничто не страшно коммунисту — вот вывод из книги, вот итог жизни автора».

Еженедельник, редактируемый затем Фучиком, поместил отрывок из книги Островского и в дальнейшем неоднократно к ней возвращался: то в информационных заметках, то в рецензии, то в полемической статье.

Осенью 1935 года в Прагу прибыла советская писательская делегация, возглавляемая Михаилом Кольцовым. В ее честь наше посольство устроило большой прием, на кото-

рый были приглашены чешские писатели, журналисты, деятели культуры. Присутствовал и директор крупнейшего издательского комбината «Мелантрих». Это издательство было весьма популярным: оно выпускало разные журналы, печатало и низкопробные, но прибыльные детективы, «ковбойки».

Директор «Мелантриха», беседуя с Кольцовым, спросил, какую новую советскую книгу тот рекомендовал бы ему издать. Кольцов, не задумываясь, назвал «Как закалялась сталь». Немедленно запросили книгу. (Ее хотело выпустить коммунистическое издательство, но тогда сочли целесообразным уступить издание «Мелантриху».)

В «Мелантрихе» ее рецензировал известный и влиятельный переводчик русской литературы, поэт и критик Богумил Матезиус. Он не усмотрел в ней никаких художественных достоинств и написал отрицательный отзыв.

Когда надежды на «Мелантрих» отпали, «Как закалялась сталь» выпустило коммунистическое издательство.

Это было ее первое зарубежное издание!

Павел Корчагин шагнул на чехословацкую землю в тревожное для нее время. Коммунистическая партия была фактически загнана в подполье. Почти все ее издания запрещены. Реакционные круги чехословацкой буржуазии держали курс на гитлеровскую Германию. Фашисты все больше и больше заявляли о себе в северной пограничной Судетской области (через два года они захватили ее).

В апреле 1936 года состоялся VII съезд КПЧ. Коммунисты сплачивали рабочих в единый фронт борьбы за демократию и национальную независимость.

В этой обстановке и вышла «Как закалялась сталь»¹.

Вокруг книги сразу же вспыхнула борьба.

¹ Перевод был сделан с текста второго русского издания (1934 г.). После выхода третьего издания он был уточнен и дополнен.

Вначале она велась в винном погребе «У Карличка», где обычно собирались литераторы, журналисты. Затем — в печати.

«Литерарни новины», которые редактировал Б. Матезиус, опубликовали статью, трусливо подписанную инициалами «Б. Г.» В ней «Как закалялась сталь» выдавалась за хронику, написанную якобы по каким-то тайным директивам «культпропотдела».

«Руде право» и «Творба» дали этой пасквильной статье достойную отповедь.

Тогда в «Литерарни новинах» вынужден был выступить уже сам Б. Матезиус.

Но и ему не удалось сбить с толку читателей¹.

«За 14 дней продано 2000 экземпляров», — сообщалось в прессе.

Восторженные отзывы на книгу появились не только в коммунистической печати. «Как закалялась сталь» называли самой популярной книгой последнего времени. О ней писали: «сильное произведение», «могучее произведение», «героическая песня советской молодежи», ее «героический эпос», «удивительный роман удивительного писателя».

Корчагин сразу же приобрел среди рабочей и студенческой молодежи много искренних, преданных друзей.

В годы гитлеровской оккупации Чехословакии их стало значительно больше.

Известно, например, что в дни героического словацкого национального восстания 1944 года прославился интернациональный партизанский отряд Корчагина. В нем сра-

¹ Истины ради замечу, что Е. Фойтикова, когда писала свою дипломную работу, была в семинаре профессора Б. Матезиуса. Она читала на семинаре доклад об Островском, и он был одобрен. Это дает основание полагать, что Б. Матезиус к концу своей жизни уже не придерживался былого взгляда на «Как закалялась сталь».

жались не только словаки, чехи и советские люди, но и болгары, венгры... Организатором отряда был бесстрашный советский парень, который «присвоил себе» легендарное имя героя книги Н. Островского. Некоторые же искренне верили, что их командир и есть тот самый Павка Корчагин, который действует в книге «Как закалялась сталь».

В одном из жестоких боев «самозванный» Корчагин пал смертью храбрых. Тогда-то отряд и решил принять это дважды героическое имя: в честь Корчагина из книги и в честь своего отважного командира.

Ведала ли история литературы нечто подобное?!

После разгрома фашизма, в 1946 году, появилось второе издание «Как закалялась сталь». На этот раз 15 тысяч экземпляров. Книгу Островского включили в библиотечку имени Фучика, целью которой было знакомить молодежь с передовой литературой. В этой библиотечке вышло три издания «Как закалялась сталь» тиражом в 115 тысяч. Тираж книги стремительно рос¹.

Немногие произведения выдержали в Чехословакии такое количество изданий и удостоились такого тиража.

Чехословацкий союз молодежи учредил значок Фучика: им награждался тот, кто прочтет определенное количество книг. В это обязательное число входила и «Как закалялась сталь».

В полном соответствии с действительностью выдающийся деятель чехословацкой культуры Зденек Неедлы писал:

«Островский создал живые типы пролетарских революционеров, готовых на любые жертвы ради торжества общего дела. Его книгу знают и любят в Чехии не только интеллигенты, но и широкие народные массы».

Героическая энергия Корчагина повсюду рождала отклик: и в студенческой бригаде на молодежной стройке

¹ В 1967 году вышло 15-е издание «Как закалялась сталь».

в районе Остравы, и у пограничников в Зноймо, и среди учащихся ремесленного училища в Хрудиме, и в пражских школах и домах пионеров. После прочтения книги брались обязательства: лучше работать, лучше нести воинскую службу, лучше учиться...

В читательской конференции, проведенной пражской городской библиотекой, участвовала тысяча юношей и девушек. Такого никогда не бывало.

В сентябре 1954 года отмечалось пятидесятилетие со дня рождения Н. Островского. «Руде право» отметила эту дату статьей Е. Фойтиковой. В ней говорилось:

«Мы гордимся тем, что первое зарубежное издание замечательного романа «Как закалялась сталь» вышло в Праге и сразу же стало книгой, дорогой для всего нашего народа, особенно для молодежи. Эта книга помогла воспитывать нашу молодежь еще до войны, в период борьбы нашей партии с отечественным и мировым фашизмом.

Если бы существовал обычай награждать книги орденами, то роману «Как закалялась сталь» по праву принадлежал бы боевой орден за заслуги в воспитании человека. Ведь он воспитывает уже без малого третье поколение...»

И, как напутствие:

«Пусть это мужество писателя Н. Островского... служит примером и нашим юношам и девушкам в их борьбе за счастливую и честно прожитую жизнь».

Отличная статья!

Островский-Корчагин получил постоянную прописку и на чехословацкой земле. Он и здесь почувствовал себя нужным, своим.

Я мог в том воочию убедиться, будучи в Чехословакии в разные годы.

В одном из рабочих районов Праги — на Смихове, далеко от площади Советских танкистов, где на высоком постаменте памятником застыл наш Т-34, есть улица Ни-

колая Островского. Я побывал на ней и беседовал с ее жителями. Они знали и чтили человека, давшего имя их улице.

И не только, конечно, это. Встречаясь с молодежью, выступая с лекциями о «живом Корчагине», распространяя свою анкету, о которой еще не раз будет идти речь, я всюду зондировал интерес к Островскому-Корчагину.

В моей анкете, состоящей из шести вопросов, был, в частности, и такой: «Сохранила, на ваш взгляд, книга Островского живое значение для современности, или она отошла уже в прошлое и представляет лишь историко-познавательный интерес?»

Отвечали анонимно. Отвечали рабочие в Готвальдове, студенты в Банска-Быстрице, комсомольские работники в Праге, школьники старших классов в Пардубицах и Подебрадах, учащиеся техникума в Яблонце-на-Ниссе, пионервожатые в лагере на Маховом озере... Одни отвечали коротко, другие — обстоятельно. И почти все, за единичными исключениями, сошлись на том, что Корчагин не утратил своего истинно живого значения.

Но до того как обратиться к анонимным ответам на анкету, обращусь к «исповедническому» письму уже упоминавшейся Е. Фойтиковой. Ведь это голос передового чешского читателя Н. Островского!

Еще в 1950 году «Как закалялась сталь» стала для нее «жизненно необходимой» книгой. С ней девушка вошла в «большую, взрослую жизнь».

Время не отделяло ее от Островского-Корчагина, а углубляло интерес к нему. Этим интересом и была рождена ее студенческая дипломная работа.

«Всегда я останусь благодарной за то, что мне довелось изучить жизнь и творчество Николая Островского столь подробно. Такой факт, по-моему, должен повлиять на всю жизнь человека,

В Островском я нашла человека изумительной чистоты характера, писателя, у которого личная жизнь, общественная деятельность и творчество писателя в полном, неразрывном единстве. По-моему, только один писатель во всех отношениях стоит с ним наравне — Юлиус Фучик.

Студенческая дипломная работа для меня теперь уже факт исторический. Теперь писала бы ее не так. В ней много примитивных ученических недостатков (особенно в 1-й ее части), которых теперь бы я уже не допустила.

Однако работа писалась с большой любовью и сознанием ответственности, на протяжении полутора лет. В ней лучшие мысли, на которые я тогда была способна. И поэтому пусть она служит источником (хотя и несовершенным) для интересующихся и вместе с тем является свидетельством любви и признательности многих чехословацких читателей.

Николай Алексеевич, большое вам спасибо!»

Е. Фойтикова писала статьи об Островском, очерк о нем в школьный учебник, тексты лекций... В 1954/55 учебном году она вела семинар по творчеству Н. Островского на третьем курсе философского факультета Карлова университета.

«Струнка прошлого, — как она выразилась, — оказалась очень живой».

Да, именно так. И именно это подтверждают анонимные ответы на анкету:

«Каждый и сейчас встречается с трудностями. Корчагин — пример того, как их нужно и можно преодолевать».

«Я думаю, что такие люди крайне нужны нам сегодня. Они нужны для успешного развития ЧСМ и других организаций молодежи всех стран».

«Он не был эгоистом и жил интересами общества. Это очень важно и для нас».

«Корчагин помог многим в борьбе с врагом. Он помог

одержать победу и над своими слабостями. И еще поможет. Значит, он не потерял значения для сегодняшнего и завтрашнего дня».

«Я бы хотела, чтобы между нами было как можно больше ему подобных».

«Если бы у каждого была хоть частица его честности, жизнерадостности, воли, то, вероятно, людям жилось бы гораздо лучше».

«Ни у одного народа нет столько героев, простых людей, как у советского народа. Корчагин дрался до последнего и одержал победу. В этом урок всем нам».

Были ли ответы иного рода? Были. Например:

«Наша молодежь требует современных героев, в современном понятии — герой!» И более конкретно: «Мне не нравится, с каким болезненным фанатизмом Павел работает, несмотря на то, что его здоровье ухудшается. Это в настоящее время является пережитком».

Что ж! С подобным мнением я встречался и у себя на Родине. Об этом еще речь впереди. Приходилось разъяснять, что современные герои не отменяют Корчагина, а, наоборот, наследуют ему, что они тоже работают с огоньком, «фанатично». И напоминать слова Островского: «Кто не горит, тот коптит — это закон».

Но негативные ответы были, повторяю, единичными.

Прошло несколько лет после моего первого приезда в Чехословакию. Интерес к Островскому-Корчагину не угас. К старым, уже известным свидетельствам, прибавились новые.

Так, например, в Карловом университете я познакомился с дипломной работой Владимíры Похóповой «Николай Островский в чешской и советской критике». В ней ссылки на все книги советских островсковедов, на множество статей, опубликованных в советской прессе. Это — с одной стороны. А с другой — ссылки на девять трудов чеш-

ских литературоведов и на пятьдесят шесть статей и заметок, появившихся в 1934—1956 гг. в чешской печати.

Издательство Академии наук выпустило исследование Берджиха Догнала «Развитие текста романа «Как закалялась сталь». Это первая и единственная пока что работа такого рода.

Бедржих Догнал занялся Островским не случайно.

...В конце октября и в первой половине ноября 1939 года по Чехословакии прошла волна студенческих антифашистских демонстраций. В ней принял активное участие студент философского факультета Карлова университета Догнал. Гитлеровцы жестоко подавили демонстрацию. Многие арестовали и сослали в концентрационные лагеря. Та же участь постигла и Догнала.

В лагере юноша заболел туберкулезом легких. Его выпустили. Но болезнь обострилась, он буквально погибал.

После освобождения Чехословакии Догналу сделали операцию и спасли ему жизнь. Помог не только хирург.

— В это невыносимо тяжелое время,— сказал Догнал,— мне попалась книга «Как закалялась сталь». Она и помогла выстоять.

Он успешно закончил университет. В 1954 году вышла его первая книга об Островском, выразительно названная — «Герои, которые учат нас жить». (Тогда же появился и сборник Йозефа Рыбака «С орлиными крыльями», в котором среди семнадцати очерков о выдающихся революционных бойцах, писателях и поэтах был и очерк о Николае Островском). А кандидатской диссертацией молодого ученого стало исследование текста Островского, о котором я уже упомянул.

И хотя Догнал специалист по сравнительной филологии, по сравнительному литературоведению, корчагинская тема стала его личной, внутренней темой. И он думает о новых работах, связанных с любимым героем.

Бывал я в Чехословакии и после кризиса 1968 года. Он не мог, разумеется, не коснуться и Островского. Те негативные ответы на мою анкету, которые еще в 1961 году выглядели единичными, распространялись и утверждались в широких масштабах. Корчагин открыто объявлялся анахронизмом. Находились «теоретики», которые выступали с абсурдными, унижительными и оскорбительными для него сопоставлениями.

Но вот в 1972 году издательство «Млада фронта» выпустило шестнадцатое издание «Как закалялась сталь», и оно как бы смыло всю ту злую неправду, которой тщетно пытались запятнать Островского-Корчагина. К нему потянулись новые тысячи сердец.

Здесь, как и всюду, у него есть духовные братья и сестры. Юлиус Фучик был уже назван. В одном ряду с ним отважные юные борцы, отдавшие, как и он, свои жизни за народное счастье и обессмертившие себя, такие, как Мария Кудержикова, Иван Явор, Эвжен Рошицкий, Братислав Шантрох, Ян Черный, Эдита Кацова, Людовит Курелли...

Назову и славу молодой революционной чешской поэзии — Иржи Волькра. Он прожил на восемь лет еще меньше Островского, и ему казалось, что он даже не успел «обнажить сердце для боя». Но и он не коптел, а горел. «И боль победы, и не думай над болью. Будь вечно в бою, никогда — после боя». Таким было его кредо.

В братском содружестве со многими и многими известными и безымянными героями духа живет в Чехословакии Островский-Корчагин.

1961—1973 гг.

ПАВЕЛ КОРЧАГИН НА РОДИНЕ ТЕЛЬМАНА

Из разнородной массы впечатлений всегда выкристаллизовывается нечто главенствующее, которое как бы все объемлет и подчиняет себе. Оно — вроде господствующей высоты, дающей тебе широту обзора, помогающей связать разрозненное в единое целое.

Я посетил Германскую Демократическую Республику в сентябре 1968 года. Был в Берлине, а оттуда перенесся на машине в благословенную Тюрингию — в Унтервелленборн, Заальфельд, Виккерсдорф, Веймар. Из уютного гетевского Веймара путь лежал в индустриальный Карл-Маркс-Штадт, Ошац, Лейпциг. Оттуда — возвращение в Берлин.

Поездка заняла две недели. Она была заполнена множеством встреч: с рабочими и студентами, библиотекарями и школьниками, преподавателями и журналистами, издательскими работниками и сотрудниками Центрального совета Союза свободной немецкой молодежи (ССНМ), с товарищами из Общества германо-советской дружбы и из Центрального комитета антифашистских борцов, с дочерью Эрнста Тельмана — Ирмой Габель-Тельман и с переводчиком «Как закалялась сталь» на немецкий язык Эрнстом Дорнхофом¹.

Разные люди, в ГДР и потом в Москве, задавали мне

¹ До 1961 г. книга Н. Островского выходила в других переводах.

один и тот же вопрос: «Что произвело наибольшее впечатление?» Обращаясь к своей памяти, я старался найти в ней то, что было господствующим. И предо мной неизменно возникала Александр-плац: взметенные в небо здания из стекла и бетона, гипнотизирующий пик сооружаемой телебашни, высотные краны, грохот экскаваторов и бульдозеров, одним словом, «саженьи шаги» строительства, которое здесь развернулось. Я даже занес в свою записную книжку: «Александр-плац — символ ГДР».

И неизменно возникал еще один символ: старый балкон, с которого выступал Карл Либкнехт. Балкон этот, драгоценнейшая революционная реликвия, вмонтирован в фасад нового здания Государственного совета ГДР.

Символ — образ воплощающий.

Дух строительства, который столь зрим в центре Берлина, на Александр-плац, витает над всей ГДР. Энергично расчищаются места бывших разрушений и превращаются в строительные площадки. Строят заводы и жилые кварталы, стадионы и дворцы культуры, плотины и дороги... Строят основательно, надолго. Смотришь — и душа радуется. И не просто потому, что строят. А потому, что за всем этим всеобщим мощным строительством видишь столь же всеобщую и мощную веру в завтрашний день. Без такой веры невозможно было бы так строить. Именно пафос этой могучей веры и радует.

Вот уже двадцать с лишним лет в ГДР идет строительство новой жизни. Каждая из ее многочисленных и многообразных областей знает, конечно, свою Александр-плац. Самое же дорогое и ценное во всем этом повсеместном и повседневном строительном круговороте — созидание нового человека. И здесь, на руинах старого строится небывало новое. Александр-плац в мозгу и в сердце каждого человека!

Александр-плац! Человечий строительный процесс

куда, конечно, сложнее того, что происходит на берлинской площади. И если придерживаться условного воплощающего образа, то его следует дополнить тем самым символическим балконом над входной дверью Государственного совета, с которого в былые годы выступал вождь спартаковцев — незабвенный Карл Либкнехт, чье имя, как писал В. И. Ленин, «есть символ... верности социалистической революции».

Я отправился в ГДР с творческой целью: исследовать тему «Павел Корчагин на родине Тельмана». Действительность превзошла все мои предположения. В ГДР вышло уже 28 изданий книги «Как закалялась сталь», и ее тираж приближается к миллиону.

— Эта книга занимает у нас первое место по количеству изданий и по тиражу, — сказал о «Как закалялась сталь» главный редактор издательства «Нойес лебен».

И он показал толстый альбом газетных и журнальных вырезок — отзывов.

В ГДР, как до того в Болгарии и в Чехословакии, я выступал с лекциями о «живом Корчагине», распространял свою анкету, знакомился с откликами печати на книгу Островского, беседовал с товарищами. И убедился, что и здесь Островский-Корчагин оставил глубокий след; у него и здесь много верных старых и новых друзей.

Новых, конечно, неизмеримо больше, так как широкий немецкий читатель мог узнать о «Как закалялась сталь» лишь после крушения фашизма.

Книга Островского впервые вышла здесь в молодежном издательстве «Нойес лебен» лишь в начале послевоенного, 1947 года. Предисловие к ней написал Пауль Фернер, возглавлявший в то время Союз свободной немецкой молодежи. С тех пор она стала настольной книгой не поколения, а поколений.

Значительно раньше с Островским-Корчагиным по-



NIKOLAI OSTROWSKI

WIE
DER STAHL
GEHÄRTET
WURDE

знакомились немцы, эмигрировавшие из гитлеровской Германии и те, которые жили в нашей стране.

«Как закалялась сталь» была переведена у нас на немецкий язык еще в 1937 году.

В 1940 году она вышла на немецком языке и в Женеве. Но там ее конфисковали.

По городу распространилась листовка:

«Полиция объявила вне закона превосходный роман Н. Островского. Его должен прочесть каждый рабочий, и рабочие прочтут его, несмотря на все запреты».

В 1941 году в Швейцарии, в Берне, было предпринято новое издание «Как закалялась сталь». Успели отпечатать несколько сот экземпляров, и нагрянула полиция. «Корчагина» снова арестовали.

Уже в годы войны о книге Островского узнали многие немцы-военнопленные. Мне довелось беседовать с одним из них в Обществе германо-советской дружбы.

До войны был учителем: преподавал историю, географию и немецкий язык. С Павлом Корчагиным он познакомился, попав к нам в плен. Здесь он занялся антифашистской деятельностью. Вернулся в Берлин весной 1947 года.

— «Как закалялась сталь» открыла мне глаза на многое, — сказал он. — Я увидел советского человека в полный рост. Natürlich, natürlich! — подчеркивал он. — Нет таких чудес, на которые он был бы не способен.

То, о чем рассказал мне бывший военнопленный, стало объектом внимания самой немецкой литературы. Назову роман Герберта Отто «Ложь». Там военнопленный Альфред Гоферкорн, замысливший бежать из лагеря, идет в библиотеку за географической картой. А ему советуют прочесть книгу, которая «все ходит по рукам» и которую «только вчера вернули». Гоферкорн взглянул на заглавие «Как закалялась сталь» и решил, что кни-

га — о металлургии, о технологии стали. Библиотекарь разъяснил, что книга о другом, и уговорил взять ее. «Как закалялась сталь» захватила его с первых же страниц. И он отказался от своего намерения.

Но след Корчагина обнаруживался и в самом фашистском логове.

Дочь Тельмана поведала мне, что о книге Островского она узнала еще в концентрационном лагере от заключенных советских женщин. «Волевое чудо» Корчагина поддерживало многих. Его мужественный образ ассоциировался с известными строками «Фауста», звучащими как девиз: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой!» Корчагин звал к жизни, к свободе.

И я тогда понял, что не случайно именно книга Островского фигурирует в фильме «Эрнст Тельман — сын своего класса», снятом по сценарию В. Бределя и М. Чесно Хелля. Она отважно боролась в глубоком подполье.

В этом фильме есть такая сцена.

Идет допрос жены Фите Янсена — друга и боевого соратника Тельмана, которому удалось эмигрировать из Германии. Чтобы сломить женщину, следовательно прибегает к испытанному приему — приказывает привести ее ребенка.

— Хороша жизнь, когда имеешь ребенка, — притворно говорит он, — имеешь свою квартиру, книги...

И далее:

— Хорошие у вас книги имеются дома. Я даже не пожалел времени посмотреть их.

Тут он достает книгу Островского «Как закалялась сталь» и, обращаясь к ффрау Янсен, продолжает:

— Вот вы, ффрау Янсен, правильно подчеркнули одно место: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дает ему один раз...»

Женщину не удалось сломить: она предпочла смерть

предательству. Она помнила слова, которые подчеркнула и которые побоялся прочесть следователь, слова о жизни, которую нужно прожить так, «чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества».

Мне сказали, что образ Фите Янсена не подлинный, а вымышленный. Значит, не было и реальной ф́рау Янсена. Но никто не усомнился в возможности подобной сцены. И не зря, конечно, авторы сценария ее создали, не зря они вспомнили именно о книге Николая Островского.

В годы минувшей войны мне довелось присутствовать на допросе одного немецкого офицера, который показал, что в гитлеровских шпионских школах преподавали «Как закалялась сталь». И шпионы, диверсанты, засылаемые в нашу страну, должны были сдавать экзамен по ...Павлу Корчагину.

Их интересовали не только наши военные объекты. Сам советский человек являлся для врага величайшей тайной. И они старались ее разгадать. Их интересовал Корчагин как пароль и как отзыв советских людей: с его помощью они рассчитывали проникнуть во все запретные зоны.

Что произошло потом, после разгрома фашизма? На этот вопрос отвечает один из авторов анкеты, которую я распространил во время поездки среди читателей ГДР.

«К моему поколению принадлежат люди, которым было 15 лет, когда кончилась война: слишком молодые, чтобы быть виновниками, но достаточно зрелые, чтобы понять преступления Гитлера. Мы быстро выросли от ночных бомбежек, голода и холода. Фашисты пригнали нас к самому что ни на есть краю жизни. Но пришла Советская Армия, а вместе с нею и надежда на светлое будущее, которое нуждалось в нашей действенной силе.

Мы чувствовали свою ответственность перед ним и готовы были многое взять на себя. Мы жадно стремились познакомиться с советскими людьми и с советской литературой.

Одной из первых книг, ставшей для нас открытием, была книга «Как закалялась сталь». Мы ее тогда называли просто «Сталь». И это — свидетельство ее популярности. «Сталь» прочитали все члены нашей группы Союза свободной немецкой молодежи. Мы инсценировали «Сталь»: сыграли сцены строительства узкоколейки и VI съезда РКСМ. Мы буквально сроднились с дорогими нам образами.

Как же и почему все это произошло? Нас никто ведь не принуждал читать эту книгу. Мы знакомились с ней не по учебной программе. Интерес к ней возник из глубокой и естественной потребности учиться строительству новой жизни и самим становиться новыми людьми.

Для нас «Сталь» была первой встречей со страной и людьми, которых фашисты так подло и зло оклеветали. Книга Островского помогла нам познать правду. И она наполнила наши юные сердца великим чувством дружбы к Советскому Союзу.

Весьма важным стало для нас знакомство с Павлом Корчагиным. Такого героя мы до тех пор еще не встречали. В книгах и фильмах нашего детства господствовали иные герои: люди так называемого высшего света. Мы ощущали пропасть между собой и ими. А тут мы познакомились с Корчагиным, молодым рабочим, который участвовал в свержении старого мира и строил новый мир. Он был таким же, как мы, ничто нас не разделяло. Он помог нам осознать могучую силу рабочего класса, нашу собственную силу.

Книга Островского пользовалась таким огромным успехом и потому, конечно, что в ней — романтика револю-

ционных годов и ее главные герои — молодые люди. Да и написана она для молодых.

Первые годы нашей комсомольской юности были тоже овеяны революционной романтикой. Мы ведь на руинах прошлого впервые в немецкой истории строили новое государство рабочих и крестьян.

Мы знали, что судьба Корчагина равнозначна судьбе его автора. Но, думая о нем, мы никогда не представляли себе образ страдающего Островского. Для нас он был Корчагиным: сгустком энергии, жизнелюбивым, настойчивым, выносливым, веселым. Он не терпел уныния, сентиментальности. И мы старались походить на него.

Позже, когда я стала учительницей, то не раз писала в альбомы своих учеников памятные слова: «Самое дорогое...» Я их сама часто вспоминала и хотела, чтобы их помнили те, кто только вступает в жизнь.

С этой исповедью девушки перекликается и то, что написал немецкий юноша, участвовавший в 1967 году в конкурсе на читательские письма, посвященном пятидесятилетию советской литературы, проводимом газетой «Дер морген». Цитирую:

«Нам, мальчишкам, было лет по двенадцати. Из разного старья мы сооружали во дворе палатки и играли в индейцев. Обменивались марками, запчастями для велосипеда и, конечно, книгами.

Книги встречались разные: были халтурные и были стоящие.

И вот однажды наш вожак (а в какой мальчишечьей компании его не бывает!) принес толстую, довольно потрепанную книгу с необычным названием «Как закалялась сталь». Он сказал, что прочел ее и от нее в восторге. Книга пошла по рукам. И каждый, кто ее прочитывал, восторгался ею так же, как и наш главарь. Я с нетерпением ждал своей очереди.

Да, друзья меня не обманули. Я читал книгу не отрываясь. И был огорчен тем, что пришлось ее передать другому. Хотелось к ней вернуться.

Что в ней больше всего пришлось нам по душе?

Мы восхищались, конечно, Павлом Корчагиным, его волей к жизни.

После того как мы прочли эту книгу, навсегда исчезли игры в индейцев. Вся наша дружная мальчишечья компания превратилась в лихих буденновцев. Никто, разумеется, не хотел быть беляком. Приходилось после долгих споров назначать на эту неблагоприятную роль. А там мы, красные, давали им жару.

Спустя некоторое время в кинотеатрах демонстрировался фильм «Как закалялась сталь». Мы по несколько раз ходили его смотреть. Он укрепил наше впечатление от книги.

Но мы тогда были слишком молоды и, конечно, далеко не все понимали в Корчагине, хоть он и стал нашим героем.

Позже, уже заканчивая школу, я вторично перечитал книгу, и мне полнее раскрылось ее содержание. Со мной и во мне слова Корчагина о жизни, которую нужно уметь прожить достойно».

Два этих человеческих документа дают представление о том, чем стала книга Островского для читателей ГДР.

Приведу и другие факты.

В 1959/60 учебном году в университете имени Гумбольдта состоялась студенческая конференция, на которой обсуждался коллективный доклад: «Роль советской литературы в формировании нового сознания». Значительное место на конференции заняла книга Островского.

Подобно значку Фучика в Чехословакии, здесь существовал значок трех степеней (золотой, серебряный, бронзовый) «За хорошие знания». Его статутом предусмат-

ривалось и прочтение «Как закалялась сталь». В одном только 1967 году этого значка удостоилось около пятидесяти девяти тысяч человек.

Слова: «Самое дорогое у человека — это жизнь...» стали излюбленной темой классных сочинений. А книга Островского — ценным подарком в день совершеннолетия (юнгенвальд).

Она так прочно вошла в жизнь новой Германии, что писатели, отражая эту жизнь, не могут не сказать о ней.

Роман Германа Канта «Актный зал», известный нашим читателям, посвящен жизни студентов рабоче-крестьянского факультета (РКФ), существовавшего в первые годы становления ГДР. В нем — такая сцена. Группа студентов сталкивается с торговцем-спекулянтом. Один из них — Роберт Исваль — негодует: «Меня зло берет, когда я вижу таких типов». Его поддерживает Герд Трулезанд: «Все эти лавочники — эксплуататоры». Но Хелла Шмёде не понимает их раздражения, ее отец ведь тоже торговец. И Трулезанд обращается к высокому авторитету «Как закалялась сталь». Он говорит: «А вы читали Островского «Как закалялась сталь»? Нет? Прочтите, тогда лучше поймете!»

Книга Островского учила их не только мужеству, но и классовой ненависти, без которой немислимо построить новую жизнь и самим стать новыми людьми.

Интерес к Островскому не ослабили «модные», модернистские течения.

Мне не забыть многолюдной трехчасовой встречи с рабочими металлургического комбината «Макс-хютте» в Унтервелленборне. Слушали лекцию. Задавали вопросы. Отвечали на анкету. А затем с гордостью показали дневник бригады германо-советской дружбы, в который давно уже были аккуратно вписаны строки из «Как закалялась сталь».

В канун пятидесятилетия Октября окружная газета города Карл-Маркс-Штадт «Фрейе прессе» уделила много места социалистическим свершениям в Советском Союзе. Речь шла и о формировании нового человека. Центральное место занял Корчагин и Корчагины наших дней.

Островский-Корчагин — любимый герой школьников Ошаца. Их преподаватель Рейнгольд Леман умело пользуется книгой Островского как могучим средством воспитания своих питомцев.

25 января 1966 года Леман выступил в газете «Нойес Дойчланд» со статьей, полемически озаглавленной: «Разве Павел Корчагин сегодня несовременен?» Он писал об ответственности учителей за воспитание подрастающего поколения и делился опытом своих школьных занятий.

«Как добиться, чтобы ученики в нужный момент действовали классово-сознательно? — задавался вопросом Леман. — Как воспитывать в них высокую гражданственность?»

И он рассказывал о той действенной помощи, какую оказал ему Павел Корчагин, который и сегодня является вдохновляющим примером. («Удивительно, какие глубокие корни пустил он в душах молодых людей») Его ученики, обсуждая поступки друг друга, задумываются над тем, как бы в данных условиях поступил Корчагин, и держат равнение на него.

А вот более поздний голос из немецкой учительской газеты «Дойче Лерерцейтунг». В сентябре 1969 года, в день шестидесятилетия Н. Островского эта газета поместила статью, так и озаглавленную — «Как ныне закаляется сталь». В ней верно отмечалось, что события, описанные в книге Островского, конечно же, стали уже историей. И вместе с тем в ней «множество мостков», ведущих в сегодняшний день.

Подобно тому как Федор Жухрай дал «путевку»

в жизнь Корчагину, объяснив ему смысл происходящей борьбы, Корчагин дает «путевку» нынешней молодежи, напутствуя ее крылатыми словами о том, чтобы «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое». Он помогает ей осознать свою цель и жить ответственно.

То, что можно назвать кредо Корчагина, родилось не само по себе и взято им не из «календарного листка». Это — плод действий, размышлений, переживаний. Это выстрадано им. Современная молодежь тоже задумывается над смыслом своей жизни. И в книге Островского она находит ответ на волнующие ее вопросы, находит революционный идеал. Она воспитывается «в духе его героев».

Да, это несомненно так! И здесь, в ГДР, на родине Тельмана, Корчагин живет далеко не обычной книжной жизнью.

В журнале «Армия» была, например, помещена корреспонденция шестнадцатилетней Ангелики Клемм «Я разговариваю с Павлом Корчагиным». Девушка тяжело больна. И она делится с Корчагиным своими переживаниями, советуется с ним, рассказывает о том, как он помогает ей вернуться к жизни. Она беседует с ним, как со своим современником, старшим другом. Интонация доверительная, интимная: «Ты понимаешь, Павел...», «Павел, ты видел меня?», «Ты никогда не был счастлив без работы», «Я пытаюсь делать в малом масштабе то, что ты делал в большом».

Его энергия и воля продолжают служить вдохновляющим образцом. Он живет в победах новой Германии, в ее Александр-плац, в молодом поколении — юношах и девушках с золотым солнцем на рукавах синих блуз — эмблемой ССНМ, уверенно смотрящих в будущее и изо дня в день создающих его.

1969 г.

ПАВЕЛ КОРЧАГИН НА РОДИНЕ МАТЭ ЗАЛКИ

После Болгарии, Чехословакии, ГДР — Венгрия. Я побывал там в 1969 году. Но чтобы засесть за эти страницы, нужен был живой, как говорится, повод. История — историей. Есть ли у нее продолжение? Нас ведь интересует прошлое не само по себе, а его ростки в настоящем. Последнее издание «Как закалялась сталь» вышло в Венгрии еще в 1956 году.

— Нам предстоит заново открыть Корчагина для нынешнего подрастающего поколения, — говорили мне товарищи в Будапеште. — Те, кому сейчас тридцать и больше, хорошо его знают. Двадцатилетние — хуже. А те, кому меньше двадцати, плохо знают или совсем не знают.

Я не раз убеждался в справедливости этих слов.

Давно, конечно, назрела нужда в новом издании «Как закалялась сталь». Об этом шла у нас речь и в отделе культуры ЦК комсомола Венгрии, и в молодежном издательстве имени Ференца Мора (оно сродни нашей «Молодой гвардии»).

И вот — известие, что это новое издание осуществлено. Появился «живой повод», чтобы рассказать о жизни Павла Корчагина на родине Матэ Залки.

Матэ Залка в данном случае не просто образ революционной Венгрии. Он был тем первым реальным венгром, с которым встретился и сдружился «живой Корчагин». И естественно будет, конечно, начать повествование не

с дней нынешних, а с дней минувших, когда были еще живы и Н. Островский и Матэ Залка. Их дружбой по праву гордятся венгры.

Николай Островский и Матэ Залка встретились впервые 13 мая 1934 года¹ в Сочи, на Ореховой, 47, где жил тогда Островский. Но еще два с лишним года до того они заочно познакомились на страницах журнала «Молодая гвардия», в котором одновременно печаталась первая часть «Как закалялась сталь» и первая часть романа Матэ Залки «Кометы возвращаются». Подобно тому как в образе Павла Корчагина угадывался Островский, в образе бравого командира кавалерийского полка интернационалистов Виктора Гара, награжденного орденом Красного Знамени, угадывался Матэ Залка.

И уже тогда они открылись друг другу и полюбили друг друга.

«А, «Кометы возвращаются!» — приветствовал появление Залки Островский. И хотя они были людьми не одного, а разных поколений (Залка лет на восемь старше Островского), они сразу же нашли общий язык.

Островский писал на следующий день после их встречи: «Этот венгерец не может не стать мне другом... С такими ребятами даже умирать не скучно».

Залка же вспоминал:

«Наша встреча не была знакомством. Это была встреча давно знающих друг друга друзей, и мы с первого слова как бы продолжили давно начатый и не продолженный разговор.

Ушел я от Островского, как уходит провинившийся комполка от боевого начдива, который вместо проборки встретил его дружеским разговором...

¹ В книге Я. Гордона «Матэ Залка. Очерк жизни и творчества» («Советский писатель», 1956) допущена неточность: сказано, что первая их встреча состоялась весной 1933 г.

Впечатление, которое произвел на меня Островский, можно назвать резко контрастным. И, главным образом, оно было ободряющим. То, что Николай лежит, что он разбит, не видит и т. д. — это было внешне. Сущность: это — силач, доблестный парень, боец. Да, в нем все еще чувствуется красноармеец... Он чувствует себя в рядах... и он в рядах даже передовых».

Так было положено начало их не заочной уже, а очной дружбе, продолжавшейся до последних дней их жизни¹.

Я не раз наблюдал энергичного, пышущего здоровьем и весельем, боевого комбрига Матэ Залку на московской квартире Островского. Хозяин был ему всегда рад. Они беседовали по душам. Пели. Шутили.

Во второй главе «Рожденные бурей» австро-венгерский солдат Мечислав Пшигодский, бывший русский военнопленный, возвратившись к себе на родину и попав сразу же в арестантскую, где находился Сигизмунд Раевский, рассказывает о революции в России. Часть военнопленных решила поддержать большевиков. Возглавил их «отчаянный парень» венгр-лейтенант Шайно. Пшигодский поведал, как он «полгода с коня не слезал» и вместе с Шайно «гвоздили господ русских офицеров». Шайно остался партизанить на Дальнем Востоке, а его «потянуло к дому».

Лейтенант Шайно — не кто иной, как Матэ Залка. В первой газетной публикации этого отрывка и фигурировал Матэ Залка. Шайно появился позже.

Приведу и другое свидетельство их горячей привязанности. Матэ Залка писал Островскому летом 1936 года: «Уже больше месяца я нахожусь на Украине, под

¹ Из этого не следует, что Матэ Залка видел якобы в Островском одного из главных своих учителей в литературе, такого же, как Горький и Фурманов, как сказано во вступительной статье В. Байкова к «Избранному» Матэ Залки (М., Гослитиздат, 1955).

Полтавой. Здесь работаю над новой книгой об империалистической войне под названием «Добердо».

Книга моих рассказов, которая уже весной была в наборе, до сих пор не вышла, иначе бы я тебе послал.

Как твои «Рожденные бурей»? Коля, здесь в каждой хате наряду с портретами наших вождей и Тараса Григорьевича Шевченко висит и твой портрет, и пацаны, когда я их спрашиваю: «Кто це такой?» — бойко отвечают: «Це письменник-орденоносець Микола Олексиевич Островский».

Можешь себе представить, как мне это приятно».

Позже, когда Матэ Залка находился в Испании и под именем генерала Лукача командовал Двенадцатой интернациональной бригадой, Островский с завистью и гордостью следил за подвигами своего друга. Не раз он мысленно уносился к средиземноморским берегам, чтобы оказать ему помощь в борьбе с фашистскими полчищами.

...Тогда же Павел Корчагин начал тайно проникать в хортистскую Венгрию. Его путь туда был подобен пути в гитлеровскую Германию: первое издание «Как закалялась сталь» на венгерском языке вышло в Советском Союзе¹. В Будапеште книга была издана в 1945 году, после того как Советская Армия сбила фашистские кандалы с венгерского народа.

В предисловии к ней Тибор Барабаш, о котором будет еще сказано, писал:

«Когда-то перед нами стояли князь Андрей и Пьер Толстого, а сегодня перед нами стоит Павел Корчагин Островского, как символическая фигура обновленного русского народа».

Вслед за тем, уже в 1946 году, появилось новое издание «Как закалялась сталь».

¹ Ее переводчиками на венгерский язык были А. И. Шнейер и Газа Пэнзэш, позже — Дьердь Радо и Эрнэ Керек.

OSZTROVSZKIJ N.

ÍGY
EDZŐDÖTT
AZ ACÉL

REGÉNY

AZ "OROSZ KÖNYV"

Известный венгерский поэт Антал Гидаш подарил мне сохранившуюся у него верстку книги Островского, изданную в 1948 году для венгров на Украине. Она вышла под его редакцией.

А в 1949 и 1950 годах «Как закалялась сталь» печаталась на венгерском языке и в Будапеште, и в Вене, и в Бухаресте.

Она издавалась для венгров в Белграде и в Братиславе.

Всего — девятнадцать изданий.

Нынешнее — двадцатое!

Цифра эта говорит о многом. Но она не исчерпывает, конечно, всего, что связано с Корчагиным на венгерской земле.

И здесь, после Болгарии, Чехословакии, ГДР меня интересовало, какой отклик вызвала его «символическая фигура». С этой целью я ознакомился с прошлым и с настоящим.

Вот протокол одной из читательских конференций по книге «Как закалялась сталь», которая проходила 29 октября 1951 года.

Выступило тринадцать человек. О чем они говорили?

— Наша молодежь нашла своих героев в советской литературе. Один из них — Павел Корчагин. Прочитав эту книгу, многие почувствуют стыд за свою жизнь.

— «Как закалялась сталь» — учебник жизни.

— У Павла Корчагина мы черпаем силу для борьбы с трудностями.

— Книга помогает нам воспитывать новых Корчагиных.

— Эта книга — оружие в борьбе.

И т. д. и т. п.

В заключение — пели «Интернационал».

А вот и анонимные ответы на мою анкету. На сей раз

на нее отвечали слушатели Центральных комсомольских курсов в Будапеште.

Приведу ответы в том порядке, в каком следовали вопросы.

1. Сорок один год. Адъюнкт университета имени Лоранда Этвеша. Будапешт.

2. Книгу «Как закалялась сталь» прочла в 1950 году, когда была студенткой.

3. Остались у меня довольно яркие впечатления. Помню картины детства Павла, строительство узкоколейки... Запомнились слова: «Самое дорогое у человека — это жизнь...»

4. Когда меня принимали в партию, я думала об этих словах, и с тех пор тоже думаю о них, и хочется жить именно так.

5. Несмотря на то что Павел Корчагин литературный образ, для меня Островский и Корчагин в основном и главным — едины.

6. Павел Корчагин, по-моему, имеет живое значение и для современности. Многое в нем выглядит сейчас наивным. Но его душевная чистота по-прежнему служит примером.

Вторая анкета:

1. Мне двадцать три года, я техник-текстильщик.

2. Книгу Островского прочла в 1961 году, в пятнадцатилетнем возрасте, когда была учащейся гимназии.

3. Геронизм, огромная сила воли, выдержка до конца. Фрагменты не помню.

4. Как девушка, я избалована, труслива. Меня потрясало мужество, с которым Корчагин переносил трудности и боролся за жизнь.

5. Корчагин, как мне кажется, тождествен Островскому: у них один характер.

6. Героизм и гуманизм Корчагина и сегодня — возвышающий пример.

Третья анкета:

1. Мне двадцать пять лет, я секретарь комсомольской ячейки, а по профессии — техник.

2. «Как закалялась сталь» читал в 1964 году, когда учился еще в средней школе.

3. Подробностей не помню.

4. Хотел бы быть таким же душевно сильным, каким был Корчагин.

5. Я различаю Островского и Корчагина, хотя характер у них и един.

6. Корчагин принадлежит не только прошлому, но и настоящему.

Четвертая анкета:

1. Мне двадцать семь лет. Учитель.

2. Читал книгу Островского еще на школьной скамье.

3. Когда читал — плакал и восторгался. Запомнились слова: «Самое дорогое у человека...» Они как клятва!

4. Павел Корчагин учит человека быть Человеком в любых условиях, видеть в работе смысл жизни.

5. Я воспринимаю Островского и Корчагина как одного человека, Корчагин — псевдоним Островского.

6. Корчагин — образ советского человека, тип. Его черты живы в Мересьеве и в других людях негибаемой воли. У него есть не только прошлое, но настоящее и будущее.

Пятая анкета:

1. Мне двадцать семь лет. Автомобильный слесарь.

2. Читал лет пятнадцать назад, будучи учеником.

3. Отдельных эпизодов не помню.

4. Выводы сохранились лишь общие: быть стойким бойцом.

5. Воспринимал автора книги и ее героя, как одно лицо.

6. Корчагин и сегодня рождает себе подобных.

Не стану приводить другие ответы. Замечу лишь, что встречались и такие: «Мне двадцать один год, я токарь. Книги еще не читал, но, прослушав вас, прочитаю».

Такие ответы тоже радуют: двадцатью изданиями «Как закалялась сталь» не ограничиться!

Я посетил слепого венгерского писателя Кампена Иштвана. Он сказал:

— Мне, как понимаете, бывает очень тяжело. Островский и Корчагин дают мне силы. Я часто говорю себе: «Я ведь только слепой. Им было значительно хуже, и они держались!»

Островского-Корчагина узнали в Венгрии не только по книге. Были и радиопередачи. С большим успехом шел и спектакль по «Как закалялась сталь», в котором главную роль играл Карой Веребеш.

Я разыскал его.

Сколько лет прошло с тех пор, когда он играл Корчагина? У Веребеша пробивается уже седина. Глаза же молодые, на них нависают густые брови.

— В 1949 году, — вспоминает он, — в Будапеште был создан Театр молодежи. В нем шла «Молодость отцов» Б. Горбатова, «Педагогическая поэма» А. Макаренко. А до того, в 1951 году, поставили инсценировку Береньи Габора «Как закалялась сталь». (Береньи Габор учился, в свое время, в Москве, в ГИТИСе). Мне было тогда уже лет тридцать с лишним.

Спектакль шел два года. На нем побывали десятки тысяч зрителей.

Я жил жизнью, которой жил Корчагин, — светится лицо Веребеша. — И это приносило мне столько счастья.

За исполнение роли Павла Корчагина артист был на-

гражден почетным значком с золотым венком Общества венгеро-советской дружбы и его имя занесено в Книгу почета общества.

«Венгерский Корчагин», как я узнал, родился у нас, в Узбекистане, в Коканде. Мать у него русская. Он побывал на родине Островского — в Шепетовке.

Теперь, перед тем как вернуться к Тибору Барабашу, я познакомлю читателя еще с одним Кароем, фамилия которого Иоббадь. Он — автор предисловия к массовому изданию «Как закалялась сталь» (1956 г.).

Карой Иоббадь работал библиотекарем в гимназии имени Этвеша. Там мы и встретились накануне моей лекции.

Работает он библиотекарем, но он поэт и переводчик. Издано уже шесть сборников его произведений. Он переводил Пушкина, Некрасова, Есенина, Пастернака, Мартынова. В 1954 и в 1963 годах Карой Иоббадь был удостоен литературной премии имени Атилла Йожефа.

Любопытна его биография.

В годы второй мировой войны его мобилизовали и он оказался в офицерской школе, после ее окончания стал радистом.

В конце войны он находился на западной границе Венгрии. Приказано было отбыть с подчиненными ему людьми в Австрию. Он же 31 марта 1945 года сдался в плен советским войскам.

В плену он научился русскому языку и «Как закалялась сталь» прочел в подлиннике.

— Я плакал от радости, — сказал он, — когда убедился, что понимаю написанное.

Ему открылся неведомый мир.

Спустя восемь лет, у себя на родине, он напишет предисловие к этой книге.

Так трансформировалось сознание бывшего радиста

хортистской армии, бывшего советского военнопленного.

Тибор Барабаш — иная фигура. Он выходец из революционной семьи и сам с шестнадцати лет участник революционного движения. Известен он как прозаик и публицист. Его перу принадлежат автобиографические произведения и исторический роман о Савонароле, монографии о Рембранте, Моцарте, Микеланджело, Бетховене... Он награжден премиями имени Атилла Йожефа и имени Кошута.

Автор первого предисловия к венгерскому изданию «Как закалялась сталь» находился в концентрационном лагере и был освобожден оттуда вместе с другими узниками Советской Армией.

Он коммунист и говорит:

— Своих сыновей я воспитал коммунистами. Это наилучшее подтверждение моей верности Островскому.

Тибор Барабаш говорит и о тех тяжелых испытаниях, которые прошла Венгрия в 1956 году, и о вреде, наносимом современными модернистскими теоретиками дегеронизации.

— «Как закалялась сталь» у нас давно, к сожалению, не издавалась. И новое поколение знает Корчагина лишь понаслышке. А знать его нужно, необходимо. И чем скорее произойдет встреча с ним — тем лучше.

Я слушал его и думал о том же.

Тем приятнее было узнать, что в издательстве имени Ференца Мора вышло двадцатое издание «Как закалялась сталь».

1971 г.

КОРЧАГИН С НАМИ!

Не столь давно, беседуя с молодыми литераторами, я услышал и другое:

— Книга Николая Островского «Как закалялась сталь» отслужила уже свой век. Она — зачехленное знамя. Сейчас читателя волнует не Корчагин, а герои шестидесятых и семидесятых годов.

Да, Корчагин рожден своим временем. Да, это время прошло. Следует ли, однако, из этого, что вместе с ним канул в прошлое и Корчагин?

Достаточно вспомнить хотя бы его слова о смысле жизни, чтобы ощутить их бессмертную, окрыляющую силу, их сегодняшнее живое дыхание.

Корчагин презирал эгоистов, шкурников, трусов. Смысл его жизни — счастье человечества. За него он боролся до последнего дыхания.

А его жизнелюбие, оптимизм...

Что больше всего привлекает в Корчагине? Прежде всего его умение проходить те самые жизненные «туннели», о которых писал Ромен Роллан своему юному другу Сергею Кудашеву. Он писал об отношении к трудностям: «В твоём возрасте и на мою долю их выпадало больше, чем полагалось бы. Когда они возникают, говори себе (я понял это позже, в результате своего жизненного опыта) — это как бы туннели, встречающиеся на пути: через эти туннели нам суждено проходить, но пройти через них необходимо, так как из них всегда выходишь на яркий

свет и чистый воздух... Главное — держаться и идти вперед».

Именно так мыслил Корчагин, так он относился к своим многочисленным «туннелям». Он всегда умел держаться и двигаться вперед.

И в таком его поведении не было ничего исключительного, одиночного. Его воля и оптимизм, его горение — от света и воздуха страны, в которой он рос.

Задолго до того, как Хемингуэй написал свою повесть «Старик и море» и сказал: «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражение. Человека можно уничтожить, но его нельзя сломить», — мир услышал это из уст Корчагина.

Есть старая и мудрая поговорка: «Друзья познаются в беде». В беде познается каждый человек: чего он стоит и с какой буквы писать его имя, с большой или с маленькой.

Много бед претерпел Корчагин. И выстоял!

Герой нашего времени — *не слепок* с Корчагина. Да он не может и не должен им быть. Жизнь неустанно движется вперед. Наш современник несомненно многим отличен от молодого человека двадцатых годов. Они — дети *разных эпох*, и глупо было бы здесь что-либо просто копировать. Само понятие «*современный Корчагин*» включает возможность его механического перенесения из прошлого в настоящее. *Современный Корчагин живет в современной действительности*. Речь о другом: о корнях. Ими сильны не только деревья, но и люди. «Никакая буря не свалит дерева с крепкими корнями. Этим гордятся корни. И я». Так писал Юлиус Фучик. И он, находясь в гестаповском застенке Панкрац, зная, что ему оттуда уже не выбраться, утешал себя и родных: «Ну что ж. На дереве, которое мы, корни, держали и удержали, появятся молодые побеги и созреют новые плоды... И тогда, быть

может, и мои плоды нальются соком, хотя на мои горы никогда уже не падет снег».

Существует *связь времен и связь поколений*. Она тем крепче, чем больше идейной общности между ними. Существует *преемственность*. Внуки и дети Корчагина, отличаясь от него, наследуют ему. Об этом не раз внушительно заявляла наша молодежь, демонстрируя свою верность революционному делу дедов и отцов. Мы были свидетелями тому и 11 сентября 1966 года, когда на Красной площади тысячи внуков тех, кто штурмовал Зимний, и детей тех, кто сокрушал фашизм, торжественно присягали от имени своего поколения на верность Ленину. Они клялись каждым ударом сердца, каждым прожитым днем, всей своей жизнью утверждать на земле коммунизм. И это роднит их с Корчагиным.

О Корчагине говорили, как и следовало ожидать, в полный голос на XV съезде ВЛКСМ: и в докладе, и в прениях. Автору «Как закалялась сталь» присвоили почетное звание лауреата премии Ленинского комсомола, подчеркнув тем самым, что Корчагин остается в строю, что он и сегодня помогает ковать сталь большевистского характера.

То, что можно назвать корчагинским началом, проявляется в жизни в разных условиях и по-разному.

...На страницах «Комсомольской правды» были напечатаны записки Василия Довгальюка «Остаюсь с тобой, Енисей». Их автор — рабочий-путеец. Корреспондент газеты А. Мурзин представлял его читателям:

«В Сибирь его не пускали. Он приехал в Киев, в ЦК ЛКСМ Украины, из села Дворец на Тернопольщине. Инструктор повертел в руках его медицинскую справку: пониженный слух в результате контузии. Взглянул удивленно: где же это, мол, ты успел, Василий Антонович,

вроде молод еще, на фронте не был? Вот так приходится каждому объяснять, что и его, пятилетнего, крепко коснулась война, громыхнув немецкой бомбой прямо под окнами хаты...» Не можем, — уже сочувственно сказал инструктор. — В Сибири знаешь какие люди нужны?»

«Я уже был там. Целое лето. На целине». — «То летом». — «Я и к зиме готов. В прорубях купаюсь. Не для Сибири, для себя». — «Нет, извини, но поезжай, брат, домой».

Василий ушел не на вокзал, а в сквер, к памятнику князю Владимиру. Переспал на скамейке. Утром снова пришел в ЦК. И снова ночевал «у князя Владимира». На третий раз путевку ему дали.

Человек этот три года строил дорогу в глухой сибирской тайге. Он прошел тяжелое испытание на прочность. И с честью выдержал!

В его записках есть такое примечательное место:

«Ко мне подошла Валя Рощина. — «Вася, тебе что — лопату или лом?» — «А чем легче?» — «Конечно, лопатой». — «Тогда давай лом...»

Легкая работа его не устраивала. Он искал тяжелую.

Когда я читал этот очерк, то вспомнил эпизод из уже далеких военных лет.

...Это было, кажется, за Бобруйском. В полку самоходных пушек я встретил девушку-санитарку, хрупкую, голубоглазую, с двумя косичками. А вокруг ребята — рослые, широкоплечие. Вместе с ними двигалась она в бой, оказывала первую медицинскую помощь раненым, вытаскивала их из-под вражеского огня.

— Трудно вам тут, — сказал я сочувственно. — В госпитале, вероятно, было бы легче.

Девушка озорно глянула на меня.

— А было бы легко, сюда бы не пошла, — ответила

она. И напомнила слова Николая Островского: «...через трудности — к победе».

Вот он — корчагинский характер!

Еще будучи школьницей, она прочла «Как закалялась сталь» и с тех пор навеки сдружилась с Павлом Корчагиным. У него училась она преодолевать трудности и находила в этом радость. Легкую работу, рассуждала она, выполнит каждый. А ей подавай тяжелую, такую, которая требует воли, смелости, выносливости. Девушка мерила себя большой мерой. Островский-Корчагин ей в этом помогал.

Да ей ли одной?!

Некоторым может показаться странной и даже незаконной такая аналогия: обыкновенный, казалось бы, Довгалюк, рядовая, казалось бы, девушка-санитарка и ставший уже легендарным Корчагин.

Но в том-то и дело, что нимб, возникший вокруг головы Корчагина, не имеет ничего общего с его сущностью. Этот черноглазый паренек из Шепетовки, проживший короткую и вместе с тем большую, трудную и героическую жизнь, был тоже земным человеком. Он знал горечь разочарований, впадал в отчаяние, совершал разного рода ошибки. Прочтите внимательно «Как закалялась сталь». Вспомните, например, что говорит Рите Устинович о своем ученике Корчагине уезжающий на работу в ЦК Сегал: «Юноша еще не совсем ушел от стихийности. Живет чувствами, которые в нем бунтуют, и вихри этих чувств сшибают его в сторону». А чьи это слова: «Но было немало и ошибок, сделанных по дури: по молодости, а больше всего по незнанию»? Корчагина. Так думал он о самом себе.

Жизнь Павки была достаточно сложной. И она не нуждается в «хрестоматийном глянце». Критически осмысливая ее и находя в ней недостатки, сам герой выделил то

главное, чем она была славна и богата и что по праву составляло его гордость: «Самое же главное — не проспал горячих дней, нашел свое место в железной схватке за власть, и на багряном знамени революции есть и его несколько капель крови».

Нынешнее поколение молодежи живет, разумеется, в совершенно иных условиях. Однако разве тысячи и тысячи Довгалюков не гордятся сейчас тем, что они не проспали своих горячих дней, что нашли свое место в сегодняшних бескровных боях, что они еще выше подняли багряное знамя коммунистической революции?! Разве не это для них самое главное?!

Все, разумеется, течет, все меняется. Таков незыблемый закон жизни. Но могучая река времени не уносит бесследно старые идеалы, они не утрачивают своего обаяния для современников. И более того, многие из них остаются высшей степенью совершенства для новых поколений.

Каким бы ни был «новый», «свой», «конкретный» революционный идеал, он не заслонит «старого» Корчагина.

Приведу опять же несколько характерных ответов на не раз упоминавшуюся уже мною анкету, которую я распространял и в нашей стране.

Здесь были у меня свои, так сказать, опорные пункты: один — в донбасском городе Дружковка, где существует литературная группа имени Н. Островского, возглавляемая старым рабочим Г. А. Стеценко; второй — в молодом алтайском городе Горняк, где находится средняя школа имени Горького, а при ней — музей Н. Островского.

Энтузиасты из совета этого музея (Т. Ходякова, Г. Хаустов, Н. Санжировская и др.) распространяли анкету преимущественно в своей школе. Г. А. Стеценко не ограничился Дружковкой: он отправил анкету во многие города Союза и организовал «Всесоюзный опрос».

И вот — кипы ответов.

Откликнулись люди разных возрастов и профессий. Многие назвали себя. И среди них — весьма заслуженные люди. Но анкета была задумана как анонимная, и, желая ее сохранить именно такой, я буду приводить ответы без оглашения фамилий авторов.

В большинстве случаев ответы приводятся в их натуральном виде и лишь изредка, чтобы яснее был их смысл, подвергаются то ли незначительной редактуре, то ли излагаются.

Итак, ответы. (Вопросы подразумеваются.)

«Пятьдесят восемь лет. Кочегар.

Читал книгу «Как закалялась сталь» четырежды, начиная с первого ее издания. Книгу хочется перечитать.

Впечатление — потрясающее. На всю жизнь запомнился Павка Корчагин, его мужественная жизнь-борьба. Запомнились его слова: «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной».

Во время Великой Отечественной войны руководил в оккупированном Львове подпольной группой советских патриотов. Дважды арестовывался полицией. Пытали. Помог и Павка Корчагин, его героизм, его твердость коммунистической души.

Да, Корчагин наш современник. Его побратимов, живых и строящих коммунизм, я вижу на шахтах и на заводах Донбасса. Он со мной и во мне, друг мой и напарник мой, он любит труд и трудолюбие учит других.

Новая анкета и новые ответы:

«Сорок пять лет. Кинорежиссер. «Как закалялась сталь» прочел двенадцатилетним мальчишкой.

Ходил, как оглушенный до звона в ушах. Павка стал любимым героем на всю жизнь. Он все делал по велению сердца и отдавал себя до последней кровинки. Таким мечтало быть и наше поколение.

Больше всего запомнились страницы о том, как в Шепетовке узнали о смерти В. И. Ленина.

«Ледяной стужей ознаменовал свое вступление в историю тысяча девятьсот двадцать четвертый год».

В том году я родился.

Приведенная выше фраза настолько врезалась в память, что я потом выучил наизусть несколько следующих за нею страниц.

Непосредственно с книгой Островского в моей личной жизни связана битва за Сталинград. Меня тогда прозвали Павкой, и я очень этим гордился.

Я всегда думал о нем, когда мне в жизни было трудно. Он и Мартин Идэн всегда были для меня символом мужества, но Павка Корчагин свой, родной, с ним я никогда не расстанусь, пока хожу, дышу, борюсь. Так будет до конца».

Замечу, что ответ этот принадлежит «человеку из легенды» — Герою Советского Союза, чье имя широко известно.

Следующая анкета.

Отвечает пятидесятишестилетняя женщина, работающая почтальоном.

Книгу Островского она прочла в 1935 году, получив ее в дар от автора; она тогда работала в Сочи и носила почту Островскому.

Книга произвела на нее огромное впечатление. Больше всего запомнилась сцена последней встречи Корчагина с Тоней Тумановой во время строительства узкоколейки и обращенные к ней слова Корчагина: «Года два назад ты была лучше: не стыдилась руки рабочему подать».

Женщина написала, что «Как закалялась сталь» все эти годы помогала ей жить, в особенности в годы Великой Отечественной войны.

«Да и сейчас я не мыслю жить без этой книги. Для ме-

ня Павка Корчагин жил, жив и будет жить. Он вместе с нами строит коммунизм!»

Знакомлюсь с другими анкетами, на которые отвечали грузчик, слесарь, фрезеровщик, контролер ОТК, пчеловод, модельщик, старшая пионервожатая, пенсионер, инженер, директор средней школы...

И все — в один голос: Корчагин имеет живое значение для современности.

Это голос старшего поколения — голос сверстников Островского-Корчагина.

А вот анкеты, заполненные учащимися старших классов упомянутой уже алтайской школы имени Горького.

И здесь — единодушие.

«Я читал «Как закалялась сталь» дважды. Впервые, вероятно, как только научился читать. Но еще до того, помню, когда мы бегали гурьбой и играли в разные мальчишеские игры, нашим героем был Павка. Можно было услышать: «Я Павка Корчагин!» — «Нет, я Корчагин!»

В шестом классе я прочел книгу вторично. Читал, уже зная, что должно случиться, и все же волновался. Когда вступал в комсомол, то на вопрос, кто твой идеал, не задумываясь, ответил: Павел Корчагин.

Два года я был членом совета музея Николая Островского. На «корчагинских огоньках», на встречах я узнал много нового не только об Островском — писателе, но и об Островском — человеке. Островский и Корчагин близки и дороги мне. В них сама молодость, «пламя действия и борьбы».

«Имеет ли, на ваш взгляд, Павел Корчагин живое значение для современности? Или он представляет уже лишь историкопознавательный интерес?» Думаю, что такого вопроса и задавать не нужно. С Корчагиным, как с живым, советуются мои сверстники. Он помогает каждо-

му из нас жить содержательнее, ответственнее. *Павка бессмертен, как бессмертна революция!*»

В этих словах — голос поколения семидесятых годов.

Ребята из совета школьного музея писали мне:

«Мы не можем точно сказать, сколько человек посетило наш музей, но мы можем с уверенностью сказать, что для многих, посетивших его, Островский стал или станет другом, советчиком, наставником».

Книга Островского одинаково дорога дедам и внукам. Она — неизменный спутник их юности.

Именно это подтвердил недавно и Герой Советского Союза, космонавт В. И. Севастьянов в интервью, данном корреспонденту «Литературной газеты». Его спросили: «А если бы вы полетели на Марс, какие книги вы взяли бы с собой?» Он назвал «Войну и мир» Толстого, книги Достоевского, Пушкина, Шолохова. И сказал:

«В трудные послевоенные годы я, тринадцатилетний мальчишка, прочел «Как закалялась сталь». С тех пор книга всегда со мной. Она — мой спутник с юности».

Многие литературные звезды поблекли, померкли. А звезда Островского-Корчагина, как видим, продолжает сиять ярким светом. Тираж книги «Как закалялась сталь» превысил уже семнадцать миллионов! Ее герой, выдержав все испытания времени, продолжает оставаться властителем дум нашей молодежи.

Островский писал, что у него «...каленное сталью большевистское сердечко...», что не прав тот, кто думает, что «большевик не может быть полезен своей партии и в таком, казалось, безнадежном состоянии». Он писал: «Жизнь нельзя убить, пока стучит сердечко. и позор тем, кто сдается живым в плен». Он говорил о себе: «...живуч, как большевик».

В одном из его писем, датированных еще 1928 годом, есть и такое место: «Вокруг меня ходят крепкие, как

волы, люди, но с холодной, как у рыб, кровью, сонные, безразличные, скучные и размагниченные. От их речей веет плесенью и я их ненавижу, не могу понять, как здоровый человек может скучать в такой напряженный период.

Я никогда не жил такой жизнью и не буду жить».

Тот же пафос и в письме 1936 года, последнего года его жизни.

«Итак, да здравствует упорство! Побеждают только сильные духом. К черту людей, не умеющих жить полноценно, радостно и красиво. К черту сопливых нытиков».

В этих словах — его автопортрет.

Среди всех людей, которые его окружали, родных и близких, он был самым деятельным и потому казался самым здоровым: все нуждались в его помощи и он обо всех заботился. Он не терпел уныния и умел во всех вселять бодрость. Это был чудодейственный эликсир бодрости.

Его сосед по московской квартире — юный скрипач Ньюма Латинский часто забежал к нему, чтобы поиграть.

— Не люблю уныния, — говорил ему Островский. И просил сыграть то «Вечное движение», то «Фантазию на мотивы из оперы «Фауст» Гуно» Сарасате, то «Прекрасный розмарин» Крейсера или концерт Мендельсона.

В. Э. Мейерхольд присутствовал при телефонном разговоре Островского со своей больной матерью, находившейся в Сочи.

— Будь бодр, мать, — кричал он ей в трубку, — крепись, не поддавайся унынию.

Его непрерывно терзали боли. А он говорил Николаю Асееву незадолго до заседания, на котором обсуждалась рукопись первой части «Рожденные бурей»:

— Знаете, вот когда болит зуб, то он один и то может отравить существование. А у меня — у меня ведь воспа-

ление всей нервной системы — у меня, как будто тысяча зубов болит по всему телу. Вот почему иной раз и недотягиваешь в описании. Но мы ее, эту боль, смирим... Мы с ней справимся и вычистим все описки и неправильности письма, которые иногда она, проклятая, заставляет делать.

«Смирим... справимся...» И он *смирал и справлялся!*

По своему образу и подобию он создал Павла Корчагина. Островский показал не только процесс закалки стали человеческого характера, но и само ее качество, скрытые в ней потенциальные возможности. Это сталь высочайшей пробы. Она превзошла все известные мировые образцы.

Это — большевистская сталь!

Потому-то пример Островского-Корчагина столь заразителен. Подобно могучему магниту он притягивает к себе людей. Корчагин повсеместно рождает и ведет за собой корчагинцев.

Такова животворящая сила книги, которая и сегодня с честью представляет нашу советскую литературу и нашего советского человека на всех континентах мира.

1972 г.

СОДЕРЖАНИЕ

От автора	5
Живой Корчагин	7
Бессменная ударница и верный часовой . . .	94
Рядом с Островским	111
Николай Островский — Анна Давыдова . . .	120
Неразвернутая страница	136
Первый редактор	152
Галя Алексеева из «Как закалялась сталь» . .	158
Пометы на полях	175
История одного письма	189
В гостях у Островского	194
Под одним знаменем	201
Родство пламенных душ	216
Павел Корчагин на родине Димитрова	223
Павел Корчагин на родине Юлиуса Фучика . .	238
Павел Корчагин на родине Тельмана	252
Павел Корчагин на родине Матэ Залки	265
Корчагин с нами!	276

Семен Адольфович Трегуб ЖИВОЙ КОРЧАГИН

Редактор Н. И. Нетесина. Художник Я. Г. Днепров. На фронтисписе рисунок со скульптуры И. Васильева. Художественный редактор Э. А. Розен. Технический редактор Т. С. Маринина. Корректор Н. Д. Бучарова.

Сдано в набор 25/X-72 г. Подп. к печ. 16/IV-73 г. Формат бум. 70×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 9,0. Усл. печ. л. 12,60. Уч.-изд. л. 12,59. Изд. инд. ЛХ-681. А07896. Тираж 50 000 экз. Цена 49 коп. Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия». Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.
Заказ 752.

49 к.

• СОВЕТСКАЯ РОССИЯ •

СЕМЕН ТРЕГУБ ЖИВОЙ КОРЧАГИН